



В семье *Ивановой*  
основано: *двухэтажное здание*  
июль 1941 г. *Т. Савицкий*

Поселко

*Ведис*

# СПЕЦЫ

ВАДИМ МАКШЕЕВ

# ДЕЛО №

*С. Г. ...*

УДК 821.161.1(571.16)  
ББК 84(2P5)  
М179

**Макшеев В. Н.**  
М179 Спецы. Исследование. — Томск СК-Сервис,  
2007. — 180 с.: илл.

ISBN 978-5-902705-12-3

Эта книга о трагической участи российского крестьянства на рубеже 20–30-х годов и тысяч людей, привезенных затем на т. н. спецпоселение в Сибирь в 30-х, 40-х и начале 50-х годов минувшего столетия. Книга имеет подзаголовок «Исследование», однако это не исследование в привычном для историков смысле. Особую убедительность и выразительность придает ему то, что написано оно писателем, который в течение многих лет сам был спецпереселенцем — «спецом», как коротко именовали себя те подневольные поселенцы.

Художественное оформление  
*Евгений Беляев*

*Издано при финансовой поддержке  
Федерального агентства по печати и массовым  
коммуникациям в рамках Федеральной целевой  
программы «Культура России».*

Проект Андрея Олсара

УДК 821.161.1(571.16)  
ББК 84(2P5)

ISBN 978-5-902705-12-3

© В. Н. Макшеев, 2007  
© СК-Сервис, 2007

## ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ

Для нужд современной России тираж этой книги должен быть, на мой взгляд, по крайней мере в двадцать раз больше. Она необходима каждой школьной библиотеке. И я буду личными усилиями способствовать тому, чтобы книга дошла до главных своих читателей.

Почему так? Потому что Вадиму Макшееву, самому пережившему то, что он описывает, удалось рассказать об этом правдиво, с серьезной опорой на архивные документы — и при этом талантливо. Далеко не всегда эти качества оказываются в одном наборе. Со стилистической легкостью писать об очень тяжелом вообще мало кому удастся. И читать это повествование надо в первую очередь сегодняшнему российскому подростку, чей взгляд на советское прошлое в наши дни каждодневно замутняется. А мутный взгляд, известно, до добра не доводит.

Один лишь — из многих — аргумент в пользу необходимости этой книги для школ. Если бы те, кто после переноса таллинского памятника советским солдатам били витрины в Эстонии и бесчинствовали около эстонского посольства в Москве, прочитали книгу того, кто пятнадцатилетним подростком был насильственно вывезен из Эстонии в Сибирь, — они, скорее всего, задумались бы над происходящим. И, возможно, составили бы о событиях свое собственное, не стандартное мнение.

«До этого наша семья жила в Эстонии, где мой воевавший в белой армии отец оказался после Гражданской войны. Жили, как все тогдашние эмигранты, бедно, но то время — самая светлая пора моей жизни. Оборвалась она в июне 1941-го. За неделю до начала Великой Отечественной войны в прибалтийских республиках, ставших за год перед этим советскими, энкавэдэшники (до февраля 1941 года арестами и депортациями занимались сотрудники Народного комиссариата — после



войны переименованного в Министерство – внутренних дел НКВД; затем появился Народный комиссариат государственной безопасности, но разговорное наименование *энкавдэшиники* сохранялось долго. – М. Ч.) провели опробованную ими в Советской России массовую операцию: десятки тысяч «социально опасных» мужчин, в том числе и русские эмигранты, были арестованы и отправлены в концлагеря на Северный Урал, а их «социально-опасных» жен и детей в таких же гулаговских вагонах повезли в Сибирь. В числе тех разлученных семей была и наша.

Отец мой умер в Севураллаге в ноябре сорок первого, мама и шестилетняя сестренка Светлана скончались на Васюгане от голода в октябре сорок второго. Обе в один день..»

Зачем советской власти нужна была голодная смерть ребенка?.. Смерть миллионов ссыльных детей? Значит, нужна. Тоталитарный режим не мог бы продержаться без всеподавляющего насилия, лишавшего людей возможности сопротивления. Знать эти страшные страницы истории своей страны необходимо.

Вадим Макшеев вспоминает, что «немцев в прибалтийских странах издавна не любили». Но Сталин сам поменял вектор – отправив десятки тысяч людей в сибирские лагеря, он повернул чувства жителей Прибалтики против Советского Союза и русских. «У всех тех, кого увезли на восток, остались родные, близкие, друзья, просто соседи, у которых безжалостная акция происходила на глазах. Результат – воевавшие против Красной Армии воинские подразделения латышей, эстонцев и литовцев, «лесные братья» и всё с этим связанное. Сколько жизней было бы сохранено, не будь у Сталина и его окружения маниакального стремления кровавой ценой повсюду насаждать свои порядки, свои методы, свою идеологию!»

После чтения этой книги простое чувство справедливости, неочерствевшее сердце помогут подростку понять других людей – почему должны были радостно встречать советского солдата, гнавшего фашиста со своей земли на запад те, у кого люди в таких же шинелях за три года до этого вытащили из родного дома отца, мать, дедушку с бабушкой, увезли в Сибирь и погубили?.. Он узнает драматизм человеческих судеб. И может быть, станет снисходительней к тем, к кому пылает бездумной ненавистью.

Но главное содержание книги – картина гибели русского крестьянства от руки собственной власти. Пересказывать бессмысленно. Надо читать, как в 1931 году умирал на руках «рас-

кулаченной» матери двухмесячный ребенок, а баржу все тянул и тянул безостановочно вниз по Оби пароход. И, отчаявшись похоронить ребенка на берегу, несчастная мать положила его, завернутого в тряпицу, в берестяное лукошко и выпустила из рук в воду.. И шестилетний братик навсегда запомнил, «как голосила мать, как, вместе с уцепившейся за материнский подол сестренкой, они смотрели на берестяную куженьку, которая, удаляясь, все плыла и плыла за баржей, словно тот, кто там лежал, не хотел оставаться один на пустой реке».

Под конец – о том, как я узнала о гибели нашего крестьянства, – когда об этом не писали и даже не говорили.

Из моих детских воспоминаний. В нашей московской квартире появлялся иногда давний друг моих родителей, Валентин Иванович, очень любивший нас, детей (было нас пятеро), всегда приносивший гостинцы. Потом мы встречали его, приезжая с мамой летом в Гагры, – он был врачом лечебной физкультуры в санаториях. Детское сознание ощущало какую-то тайну за его хитрой и доброй улыбкой. И вскоре, еще в отрочестве, я узнала его поразительную историю.

В первой половине 30-х годов он, убежденный большевик с немалым партийным стажем и с опытом работы в качестве наркома народного хозяйства в одной из кавказских республик, был послан партией в Сибирь – встречать эшелоны с «раскулаченными» и организовывать, как он рассказывал, кедровые хозяйства (возможно, что-то вроде описанной в книге В. Макшеева добычи пихтового масла). Прирожденный организатор, он был готов к работе.

Но вскоре выехал из Сибири в Москву – чтобы явиться в Кремль на встречу едва ли не на уровне Политбюро.

– Вы же меня послали хозяйства организовывать, – возмущенно сказал он. – С кем? Почему вы мне трупы присылаете? Приходит состав, раздвигаем двери – оттуда замерзшие люди падают. Они, полураздетые, погибают в дороге в холодных вагонах – а их теплая одежда в других составах! Почему так? Мы ведь этих людей к ссылке, а не к смертной казни приговорили!

На него стали кричать. Горячий армянин, он швырнул кому-то в лицо металлический портсигар. И выскочил из кабинета прежде, чем присутствующие опомнились. Сумел покинуть Кремль, никем не задержанный. Тут же уехал из Москвы, успев сказать моей матери, что несколько лет от него не будет известий. Сменил имя и отчество – из Вартана Ованесовича стал Валентином Ивановичем. Поменял две буквы в фамилии – из Григорьяна стал Крикоряном. Уничтожил партби-

лет, сменил биографию, профессию. И – уцелел, не замеченный и во время Большого террора. В начале 70-х я летала его хоронить в Кисловодск.

Так я узнала когда-то о кулаках впервые – от человека, который пробовал вмешаться в страшную судьбу тех, кто коротко именовали себя спецями.

Тот, кто прочтет эту книгу, уже не сможет, мне кажется, остаться равнодушным к истории своего народа – и к судьбам миллионов. Наш долг – знать и помнить.

*Мариэтта Чудакова,  
член Европейской академии,  
доктор филологических наук,  
профессор Литературного  
института (Москва)*

# СПЕЦЫ

## ИССЛЕДОВАНИЕ



*В Томском мемориальном музее истории политических репрессий находятся семейные фотографии, полученные от родственников тех, кто в тридцатых годах был раскулачен и отправлен на спецпоселение в Нарымский округ. Когда-то запечатленных на этих снимках людей давно нет, ушло из жизни и большинство их детей, а внуки и внучатые племянники знают лишь, что на этих, хранившихся много лет, фотографиях – их далекая раскулаченная родня... Поэтому комментарии к представленным в книге снимкам иногда сопровождаются словом «предположительно». Взгляните в эти лица. Может, это кто-то и из вашей далекой крестьянской родни...*

Перевозчик-водогребщик,  
Парень молодой,  
Перевези меня на ту сторону,  
Сторону – домой...  
*А Твардовский, «Памяти матери»*

## I

Когда в мае 1931 года на испещренный стрижиными гнездами чащобный яр Васюгана конвоиры согнали по сходням с низко осевших барж сотни изможденных мужиков, баб, ребятишек и исхудавших за долгую дорогу лошадей, эта прилука реки на комендатурской карте загодя была помечена цифрой семь. Близке к вбирающей в свое русло темную васюганскую воду Оби места по берегам Васюгана, где ранее выгрузили народ и тягло, так же как предназначенные для заселения участки выше по реке, были обозначены на карте порядковыми номерами. И появившиеся в том году на безымянных крутоярах поселения первое время так же холодно-безучастно именовались: Первый участок, Второй участок и далее по порядку. Красноярку на излучке Васюгана, где уже после, в сороковых годах, я прожил без малого шесть лет, сначала сухо называли Седьмым участком. Иногда просто Седьмым.

А ту стершуюся на изгибах комендатурскую карту, с пометкой в верхнем правом углу «Совершенно секретно», я увидел полвека спустя. Помимо обозначенных номерами поселений, были там и другие цифры: сколько крестьянских семей доставлено на каждый участок.

Раскулачивали тогда крестьян по всей России. Тех, что жили на Урале и к западу от него, выдворяли ближе к Баренцеву морю и частично в Сибирь, лишенцев из сибирских сел – в енисейские дебри и нехоженую глухомань вдоль северных притоков Оби. Карали за то, что жили в просторных избах, кормили хлебом страну, за то, что много работали. Детей карали за то, что родились у таких родителей.

Весной тридцать первого года на необжитые берега васюганских плесов и мучей привезли более сорока тысяч человек, в последующие весны по большой воде завозили еще и еще. Путь был один – по реке туда, где на тысячи километров окрест – тайга и болота. И сейчас, через много лет, когда ле-

тишь на самолете над теми местами, внизу бесконечная, сливающаяся с кромкой неба тайга, поросшие карагайником торфяные болота и отражающие небо озера, чворы и извилистая, дощемущей сердце боли знакомая мне река... «Российское могущество прирастает будет Сибирию», – сказал когда-то Ломоносов. И почти два века спустя было еще здесь куда согнать тысячи раскулаченных мужиков, баб и их «кулацких» ребятишек.

Изгнанные из родных сел на неприютный Васюган, ютились они поначалу в землянках и берестяных балаганах, покуда не расчистили народом под жилье елани, на которых мужики начали ставить срубы из податливых топорю пихтовых и осиновых бревен. Высвобождая землю, отгесняли от берегов чернолесье, валили деревья, окапывали и выворачивали вагами пни с раскорячившимися корнями, стлкнували сутуники, коряги и пни в отвалы. И, оседая с яров на реку, таил над смолисто-черным Васюганом медленный, безотрадный дым раскорчевок и гарей.

Когда к концу лета перебрались в крытые придавленной дерном берестой бараки с земляными полами, дощатыми топчанами и нарами, с печами, сложенными из сбитых здесь же сырых кирпичей, когда протянулись вдоль берега первые улицы, с которых прокопали взвозы к речным приплескам, стали подневольные жители давать своим поселениям названия. Одни бесхитростные: Березов Яр, Комарный Яр, Дальний Яр, Увал... Другие, памятуя о прииртышских и алтайских селах, где до того вольно жили, нарекли: Ново-Спасск, Ново-Тевриз, Маломуромка, Славгородка, Тюкалинка...

Краснояркой назвали в память о Красном Яре на Иртыше. Много селений зовется так по всей России, потому как красным в народе называют не только багряное, но и красивое. Не походила убогая нищенка Красноярка на то оставшееся за сотни верст отсюда богатое село, да и лишь малая часть поселенных на здешнем берегу Васюгана были оттуда, но сообщая наименовали прижавшийся к таежной реке поселок Краснояркой. «Чьи вы будете?» – «Красноярские...»

Когда заходила речь о местах, откуда были высланы, говорили: «на родине», «за болотом», «дома»... Иногда, вздыхая, вспоминали: «В нашей деревне...» Здешние поселения деревнями не называли, звали поселками. Деревня – исконное, уходящее корнями в прошлую жизнь, поселок – выселок для новоселов. В ОГПУ и других причастных к раскулачиванию ведомствах насильно созданные за тысячи километров от жилья и дорог поселения значились «спецпоселками», а их подневоль-

ные жители – «спецпереселенцами». Сами сосланные именовали себя коротко: «спецы».

Начав писать это исследование, думал я рассказать лишь об одном таком спецпоселке – о Красноярке, где истово трудились, чаще горевали, нежели радовались, на что-то надеялись, страдали и умирали люди, с которыми свела меня когда-то судьба. Однако, исписав несколько страниц, понял: надо расширить рамки повествования, дабы родившийся в уже совсем иное время читатель мог осмыслить то, что тогда происходило в стране, где большевиками проводился жесточайший эксперимент над миллионами людей, и в частности над крестьянами, составлявшими основную массу населения России. К концу двадцатых годов в СССР властью, именовавшей себя рабоче-крестьянской, само исконное слово «крестьянин» было вытеснено понятиями «кулак», «бедняк» и промежуточно-неопределенным «средняк». Была изобретена новая форма собственности – колхозная, для чего следовало отобрать у крестьян и обобществить принадлежавшие им средства производства. Началась принудительная коллективизация и сопутствующее ей «раскулачивание» ненавистных большевикам зажиточных крестьян. «Годом великого перелома» назвал 1929 год Сталин в канун 12-й годовщины Октябрьской революции, призвав «продолжать решительное наступление на капиталистические элементы города и деревни». Крестьянский уклад жизни в России был сломлен, оставалось доломать тех, кто его олицетворял.

Раскулачивали, верней, разоряли изошренно и поэтапно. Сначала у зачисленных в кулаки описывалось имущество (дабы не распродали и не попрятали), затем их облагали высокими налогами и доводили им так называемое твердое задание по хлебопоставкам. За несвоевременную уплату начисляли подневно пеню. Лишь только хозяин рассчитывался, ему из сельсовета присылали новое очередное извещение. С каждым разом налог и задание возрастали и становились непосильными. Когда платить было уже нечем, а закрома пусты, пресловутые, на многие годы укоренившиеся в той системе насилия районные уполномоченные и местные активисты конфисковывали у должников скот, лошадей, сельскохозяйственный инвентарь, посевы озимых... Отбирали в счет погашения недоимки тулупы, шубы, отрезки материи, самотканые холсты, которые было принято зимними вечерами ткать в крестьянских домах. Весь этот хозяйский достаток оценивали по дешевке и зачастую кое-что приглянувшееся за беспече-



нок приобретали для себя. Стоимости имущества моего покойного тестя Дмитрия Семеновича Беспрозваннова, включая экспроприированных лошадей, скот, сельскохозяйственный инвентарь, не хватило, чтобы рассчитаться за недоимку, и напоследок у него отобрали крестовый родительский дом, выгнав с женой и четырьмя несовершеннолетними дочерьми на улицу. В Большеречье, где они жили, практически так поступили со всеми раскулаченными семьями. Враз обнищавшие, ставшие бездомными, «классово чуждые» ютились на задворках по баням, в молельнях... Некоторые мужики устремились в города, на стройки и рудники, надеясь впоследствии забрать к себе жен и ребятшек. Напрасно – гонение продолжалось.

30 января 1930 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло Постановление «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». Основным «мероприятием» было выселение кулаков «в отдаленные местности СССР». Контрольные цифры – сколько хозяйств надлежит отправить в эти «отдаленные местности» – сообщили руководителям округов, областей и автономных республик. Организация доставки в места будущих поселений возлагалась на ОГПУ. В Западно-Сибирском крае следовало переселить 30 тысяч «кулацких хозяйств»...

С давних времен большинство сибирских крестьян жило безбедно. Предгорья Алтая, просторы Кулундинской и Барабинской степей, лесостепи Прииртышья создавали благоприятную возможность для земледелия и разведения скота; многие крестьяне занимались приносящей доход ямщиной. Разумеется, сибирякам приходилось трудиться больше, нежели таким же крестьянам, жившим за Уралом. Лето здесь короче, зима дольше. Но материального достатка не было лишь у нерадивых и неудачников. Прославивший в 1890 году через всю Сибирь Чехов писал: «По сибирскому тракту от Тюмени до Томска большие села... В каждом селе – церковь, а иногда и две; есть и школы, тоже, кажется, во всех селах. Избы деревянные, часто двухэтажные, крыши тесовые... Народ здесь хороший, добрый и с прекрасными традициями. Бабы толковы, сердобольны, трудолюбивы и свободней, чем в Европе. Мужья не бранят и не бьют их. Детей не держат в строгости, они спят на мягком, пьют чай и едят вместе с мужиками... К чаю подают блинов, пирогов с творогом и яйцом, оладий, сдобных калачей... Хлеб везде по сибирскому тракту пекут вкуснейший; пекут его ежедневно и в большом количестве». Приведу слова и классика иного толка – Ленина. «Чудесный край. С большим

будущим», – отзывался вождь мирового пролетариата о Сибири. Надо полагать, что его впечатления об этом крае во многом обусловлены почти трехгодичным пребыванием в селе Шушенское, население которого, естественно, состояло из крестьян. Кстати, условия сибирской ссылки Ильича разительно отличались от того, что было уготовано им и его преемником для «капиталистических элементов города и деревни».

Начало «большого будущего» для сибирских крестьян, впрочем, как и для всего российского крестьянства, положил Октябрь 1917 года. Однако последствия революции и возникшей в результате нее гражданской войны не были в Сибири столь разрушительными, как по другую сторону Урала. К концу двадцатых годов сибирская деревня постепенно оправилась от потрясений, жизнь там стала входить в прежнее русло. Видимо, поэтому в верхах сочли, что для «социалистического переустройства» Западной Сибири разорить там тридцать тысяч крестьянских семей недостаточно, и 1 марта 1930 года из Новосибирска, где размещался Сибкрайисполком, начальству всех округов сообщили по телеграфу новую «контрольную цифру» – ликвидировать не тридцать, а пятьдесят тысяч «кулацких хозяйств». Переселение закончить к 1 апреля<sup>1</sup>.

Сибирские реки были подо льдом, доставлять на необжитые территории подлежащие выселению семьи можно было лишь на лошадях. В конце марта зимник рухнет – ликвидацию следовало провести за тридцать дней. Но «нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять», говорил Сталин. Была объявлена поголовная мобилизация «гужа» – десятков тысяч лошадей и возчиков; новые «контрольные цифры» довели всем местным Советам и органам ОГПУ, на срочных начерченных картах определили места, куда следовало водворять «миросдов» и их ребятшек. Разрешалось выселяемым «кулакам» иметь одну лошадь с санями и телегой, три косы, два серпа, два топора, две лопаты, одну поперечную пилу... На три «хозяйства» позволялся один плуг, на четыре «хозяйства» – борона, на пять «хозяйств» – лом и кирка-мотыга<sup>2</sup>.

И еще предусмотрела «рабоче-крестьянская» власть: «При отводе сельскохозяйственных угодий для поселков с кулацкими хозяйствами земли должны быть худшего качества»<sup>3</sup>.

Увозили под конвоем не «кулацкие хозяйства», а дотла разоренные крестьянские семьи, у которых приходившие их выселять сельские активисты теперь сплошь и рядом отбирали уже последнее: мало-мальски пригодную одежду, обувь, подушки,



перины, приглянувшуюся посуденку. Дабы не быть голословным, приведу выдержки из рассекреченных в начале девяностых годов архивных документов тех лет:

«...В Исылкульском районе (Омский округ) в селах Кольцовка, Плотниковка, Вяженка, Серебрянское и др. при раскулачивании отчуждалось не только имущество, находящееся в сундуках, но снималось с веревок сырое белье»;

«...В Кузнецком округе уполномоченный Топкинского райисполкома Прокопьев давал подчиненным установки: «Поступать по-большевистски и не отпускать кулаков в новых пимах... Кулаку – только плохое и рваное. МалOVERов и трусов будем предавать суду. Предлагаю сейчас же арестовывать делающих ляпсусы – отпускающая кулаков в новых пимах»»;

«...При выселении из пос. Тропино кулака Чернигина члены сельсовета присвоили себе три пары подошв и две пары стелек, заявив: «Походил в сапогах, теперь поезжай в тайгу и привыкай там ходить босиком»»;

«...В деревне Подьянда Ирбейского района (Канский округ) председатель сельсовета Мозгалевский при входе в дом к кулаку прежде всего брался за одежду и за ящики... Забирали всё, оставляя членов семьи только в том, что было на них. Где падалось варенье, сметана, масло – часть съедали на месте, остальное забирали с собой»;

«...При выселении из села Кандаурово (Колыванский район) кулачки Максимовой члены сельсовета Ерофеев и Чернов сняли у нее с пальца обручальное кольцо... Выселенная Ежова Татьяна постелила себе на саях потник. Члены сельсовета, увидев, что потник хороший, вытащили его из-под сидящей женщины и взяли себе в личное пользование... Жену кулака Ковригина посадили на розвальни с пятью малолетними полураздетыми детьми, в результате по дороге до Черемшанки она обморозила всех детей...»;

«...В селах Дубровино и Глубоком Завьяловского района (Каменский округ) кулаков выгоняли из домов в одних рубашках. В Глубоком секретарь ячейки ВКП(б) Лукьянченко Аким при выселении из дома кулака Чупахина И. С. при сопротивлении последнего взял годовалого ребенка, вынес во двор, положил на снег и стал выгонять из дома остальных»;

«...В деревне Плоское Саргатского района Омского округа колхозники в числе 15 человек во главе с председателем сельсовета Зотинным ходили по домам кулаков, отбирая всю домашнюю утварь. Пришли к Григорьевой Ксении, муж которой арестован окротделом ОГПУ; дома ее не было, были дома ста-

рик семидесяти лет и двое детей. Старик, увидев толпу, закрылся и в квартиру никого не пускал, тогда Зотин взял лом и выломал двери. Девочка 12 лет, испугавшись, выскочила в окно на улицу, порезавшись стеклом, двухлетний мальчик с испугу пометался. Вломившись в дверь, колхозники унесли с собой всё, включая ложки, чашки».

Насколько же непохоже всё это на то «раскулачивание», о котором поведала читателям художественная литература тех лет!

«Кампании раскулачивания был придан характер штурма, партизанского налета, граничащего с грабительством, – говорилось в одной из докладных записок крайисполкому. – Отбор полностью всего имущества, вплоть до белья, предметов кухонной утвари и последнего обеда, вытаскивая таковой из печи... Производилась экспроприация нередко ночью, с немедленным выбрасыванием из домов, в том числе женщин с грудными детьми, инвалидов, стариков...»

Происходило подобное повсеместно, и жалобы стали поступать в самые высокие инстанции. В результате 2 марта 1930 года в газете «Правда», через которую Сталин иногда общался с народом, была опубликована его статья «Головокружение от успехов». Сообщая об «успешном ходе коллективизации» и массовом вступлении крестьян в колхозы, Сталин признал, что «некоторыми местными организациями допущены перегибы», и призвал привлекать повинных в этом к ответственности.

«Успехи имеют и свою теневую сторону, – пояснял вожьд, – особенно когда они достаются достаточно легко. Такие успехи иногда прививают дух самомнения и зазнайства... У людей начинает кружиться голова от успехов, теряется чувство меры... Появляется стремление переоценить свои силы и недооценить силы противника, появляются авантюристические попытки «в два счета» разрешить все вопросы социалистического строительства».

Нет, не некое головокружение от успехов, а объявление вне закона сотен и сотен тысяч лишенных всяких прав крестьянских семей привело к тому жестокому произволу, который большевики дали право тогда вершить. Не в каком-то «стремлении решить вопросы социалистического строительства», а в опьянении властью, поспрании всяких нравственных устоев – причина происшедшего в русской деревне. И отнятые у отправленного в ссылку бесправного мужика последние стельки, и снятое с пальца «кулачки» обручальное кольцо, и

выброшенный из теплой избы на снег ребенок, и помешавшийся от страха двухлетний мальчик – всё это, как и многое, многое другое, не только на совести тех, кто это творил, но и тех, кто, придя к власти, призвал к насилию. На совести тех, кто санкционировал это глумление над несчастными людьми и в конечном счете уничтожал лучшую часть крестьянства.

Спустя два месяца после опубликования в «Правде» сталинской статьи полномочный представитель ОГПУ Сибкрая в информации крайисполкому об экспроприации кулачества в Сибири под грифом «Совершенно секретно» сообщал, что поскольку у ряда районных работников сложилось мнение, что «выселение кулачества является началом его физического уничтожения, то осуждение перегибов при раскулачивании было ими расценено лишь как своего рода маскировка необходимой расправы над кулаками». На заседании бюро Ишимского райкома ВКП(б) (Томский округ) было вынесено решение: «Перегибщиков к ответственности не привлекать». В том же духе на заседании бюро ВКП(б) в Бердске высказался уполномоченный Новосибирского окрисполкома: «Как ни говорите, а это обвиняют наших же коммунистов. Ну и что, если там у кулаков лишнюю рубашку отобрали или кое-кому хвост накрутили за бузотерство?» А следователь Ордынского участка Новосибирского округа прямо заявил, что в перегибах он никаких извращений классовой линии не видит: «Окрсуд и окрпрокуратура заняли в этом вопросе нерешительную, колеблющуюся позицию, – информировал председатель ОГПУ. – Судебных процессов над перегибщиками не создавалось, и если в отдельных случаях их и судили, то очень слабо»<sup>5</sup>.

Жестоко расправляясь с самыми работящими крестьянскими семьями, изгоняя их из родных сел, тогдашняя власть одновременно решила использовать эту дармовую «рабсилу» для «спецколонизации» (еще один изобретенный тогда термин с приставкой «спец») Нарымского края – наиболее необжитой территории Западной Сибири, откуда предположительно невозможно было сбежать.

Подходящей с этой точки зрения местностью было известное непроходимыми болотами Васюганье. Туда в марте 1930 года и решено было выселить большую часть раскулаченных. Местом их поселения в директиве Сибкрайисполкома значился бассейн реки Ягыл-Яг. Этот извилистый, с лесными завалами приток Васюгана берет начало в протянувшемся на сотни верст Васюгано-Абнинском болоте, ширина которого даже в самом узком месте свыше пятидесяти километров.

До Транссибирской железнодорожной магистрали от истоков Ягыл-Яга пятьсот километров, до Томска – более тысячи. Весной, затопленное тальми водами, разлившимися речушками и озерами, болото почти на месяц превращается в огромную водную равнину, над которой возвышаются лишь чахлые сосенки и гряды лесных веретий. К северу низменность постепенно повышается, переходя в заболоченные урманы и согры, кое-где пересеченные тазжыми гривами, вдоль увалов которых медленно несет к Оби непроглядную воду безлюдный Васюган.

К южной кромке Васюгано-Абнинских топей примыкал богатый природными землями Омский округ. Оттуда и намерились переселить на забытое богом Васюганье 2676 «кулацких семей» – одиннадцать с лишним тысяч «классовых врагов». В их числе была и семья родителей моей покойной жены. Шел ей в ту пору четвертый годик, чуть помнила она, лишь как, спасая своих родных от гибели, нес ее на кукорках по огромному болоту отец... Подробности о том, как завозили туда на поселение, как «убегом» уходили оттуда по уже оттаявшим рямам, рассказывали мне ее мать и старшая сестра. Знал я о той ссылке и от других моих васюганских земляков, тоже оказавшихся тогда на Ягыл-Яге и сумевших оттуда сбежать.

Последний крупный населенный пункт Омского округа на пути к Ягыл-Ягу был райцентр Тара, через который и пошли обозы с обреченными на переселение людьми из Больше-речья, Евагина, Красного Яра, Колосовки, Муромцева, других омских сел и деревень. Первыми на Ягыл-Яг отправили по этапу мужиков – строить бараки и склад для продовольствия. Уже через неделю потянулись туда долгие вереницы саней и розвальней с их семьями. Первые обозники уже далеко от Тары, а по улицам райцентра всё еще тянутся и тянутся подводы с бабами, с укутанными в тряпье ребятишками, с последним неотобранным скарбом... Скрип полозьев, понуканье мобилизованных с «гужом» возчиков, утрюмые конвойные... Скатятся ли в бесчисленные раскаты сани, лошнет завертка оглобли чьих-нибудь розвальней, рассупонится ли на какой-нибудь лошади хомут – останавливается весь обоз. Матерятся возчики, сиверок пробирает худую одежку, и, кажется, нет конца пути в назначенный кем-то для вечного поселения неведомый Ягыл-Яг. В селах, где останавливаются на ночлег, конвойные стоняют этапиремых в превращенные в клубы пустые церкви, не разрешают общаться с местными жителями, и всё же те несут им каральки, вареный картофель, молоко детишкам. Бог знает,



что будет с самими, – от сумы да от тюрьмы не отрекайся. Но есть и такие, что глядят на подневольных переселенцев ехидно: «Пожили кулаки, теперь и мы поживем...»

Власти Западного-Сибирского края спешили: каждые пять дней Москва требовала сведений о количестве переселенных «кулацких хозяйств». Зимник уже рушился... Но «нет таких крепостей...» Людей отправляли в заснеженную тайгу. 2676 водворяемых на Ягыл-Яг семей надлежало расселить в двадцати двух спецпоселках, под которые спешно доставленные землеустроители отвели на обоих берегах застывшей реки места будущих поселений, пометив их сосновыми вешками. Там прибывшие под конвоем вслед за землеустроителями мужики, отоптав снег, и стали строить бараки. Работали с темна до темна, прихватывали при кострах ночи, но ко времени, когда пришел первый обоз с женщинами и детьми, успели поставить лишь десятка полтора срубов, накрытых закиданными сверху мерзлой землей жердями. На следующий день пришел второй обоз, через сутки – третий. Селить людей уже было некуда. Возчики высаживали баб с ребятишками на снег и заворачивали лошадей обратно. Дым костров тянулся к морозному небу, голосили бабы, надсадно плакали малые дети. «Пожили кулаки...» Ночью одна из женщин задушила своего грудного ребеночка. Чтобы не мучился долго, всё равно всем здесь погибать.

А спустя несколько дней народ начал оттуда бежать. Бежали в ночь, чтобы к утру быть дальше от возможной погони; сбегали семьями и поодиночке. Кто-то ехал в санях, которые по уже проступавшемуся зимнику тяжело тянули тощие лошаденки, кто-то, перекинув коню через спину пару связанных мешков с пожитками, вел коня в поводу, кто-то уходил налегке – с котомкой за плечами. Торопились, пока еще не оттаяли застывшие рьямы, пока не загумели таяжные речки... Бежали обратно, в свои села и деревни, где уже не было ничего своего... Но куда еще бежать, где приютиться? Не знали, что минет год и снова их погонят в такую же погибельную глухомань, где лишь в небо дыра; не ведали, что не прекратят гонение, не смилятся.

...С каждым годом всё дальше от нас страдания, муки, надежды тех гонимых, обездоленных людей. И нет уже на свете тех, кто, пережив то страшное, о нем бы сегодня поведал. Но сохранились в Государственном архиве Новосибирской области документы, свидетельствующие о происходившем тогда на Ягыл-Яге.

Из докладной записки информотдела ОПТУ Сибкрая председателю крайисполкома<sup>6</sup>: «На Ягыл-Яге помещения-бараки для переселяемых до сих пор (по данным на 10 апреля) не построены, и последние разместились в землянках и балаганах...»

«Идет полнейшее вымирание детей, – сообщал 20 апреля в Омский окрэдрав заведующий Усть-ягыл-ягским фельдшерским пунктом. – Свиристуют желудочно-кишечные заболевания... Роженицы на снегу, а здесь холод стоит на 20–25 градусов утром, а днем – самое меньшее 10–15...»<sup>7</sup>.

Поток беженцев увеличивался. Некоторые партии беглецов комендатурская охрана наступала и гнала обратно, на отведенное им место проживания, однако люди снова уходили, спасая от гибели свои семьи. В тайге лежали снежные сугробы, но на открытых местах снег уже согнано апрельским солнцем. На бесчисленных озерах оторвало от края потемневший лед, по вздувшемуся, еще не вышедшему из берегов Ягыл-Ягу с шорохом плыло к Васюгану ледяное крошево, в небе курлыкали возвращавшиеся с юга журавли. Болото оттаивало.

Много лет спустя сестра моей жены, которой в том далеком 1930 году минуло одиннадцать лет, рассказывала, как уходила с Ягыл-Яга через это болото их семья: отец, который всю дорогу нес на плечах четырехлетнюю дочурку, мать и она сама. Шлю с ними больше двадцати таких же, возвращавшихся в родные села, беглецов. Шли гуськом по промятой тропе, по обеим сторонам которой на не промерзших за зиму выбунах покачивались низкорослые сосенки и словно высохшие на корню березки. Помнила висевший на обломанном суку чей-то изодранный тулупишко, кем-то оставленный между кочек старенький самовар, помнила застрявших в оттаивающей тряпине дохлых лошадей, морды которых были облеплены торфяной няшей... Ночевали возле костра и снова брели по бесконечным рьямам, пока не вышли из хляби к сосновому бору, за которым начинались зеленевшие озимью поля и еще не просохшая от весенней распутицы проселочная дорога. Деревни обходили стороной, отпускали туда только просить милостыню ребятишек. Те стучали в окошки, им подавали Христа ради куски хлеба, вареную и сырую картошку. Не спрашивали, кто они, откуда, отгоняли деревенских собак, хрипло лаявших на этих чужих, пропахших дымом детей...

А оставшимся на Ягыл-Яге спецпереселенцам день ото дня становилось всё тяжелее. «За последнее время количество больных увеличилось, – сообщал окрэдраву 31 мая заведующий Усть-ягыл-ягским фельдшерским пунктом. – Болезни



прогрессируют, общее опухание тела, кровавые поносы... Дети опухают и умирают от недоедания. 75 процентов населения имеют вид тела истощенного и землистого цвета... Матери-роженицы и кормилице грудью детей переносят мучительные страдания, после родов питаются пареной неразмолотой рожью, в грудях молоко отсутствует. Рожь выдается цельем, 15 фунтов (6 килограммов. – В. М.) в месяц. В подкрепление питания выдать муки, или круп каких-нибудь, или еще что, всё это отсутствует. А посему считаю недостатком со стороны медицины и нашей политики мучение детей полуголодной смертью. На всё вышеизложенное прошу дать те или иные указания»<sup>8</sup>.

Очевидно, под «указаниями» заведующий фельдшерским пунктом подразумевал меры для предотвращения возрастающей смертности, явившейся следствием невыносимых условий, в которых оказались завезенные на Ягыл-Яг спецпереселенцы. Ответственными за это были ОГПУ, комендантский отдел крайземуправления и другие ведомства Западно-Сибирского края, причастные к выселению тысяч людей в нехоженую зимнюю тайгу и не доставившие туда никакого продовольствия, кроме незначительного количества муки и неразмолотой ржи, в результате чего, как сообщал заведующий фельдшерским пунктом своему начальству, явилось истощение и мучение детей полуголодной смертью. По большому счету, виновна в происшедшем была власть, и прежде всего Сталин. «Вдохновитель и организатор всех наших побед». В том числе и над миллионами крестьян. Какие уж тут «указания»...

Первые могилы на берегах Ягыл-Яга появились уже в марте. Умирали от лишений, умирали от истощения и болезней на почве голода. Завезти сюда продовольствие можно было только зимой – весеннее половодье делало эту территорию недоступной; летом, когда вода с болота уходила под моховой покров, а у речек и озер обрезались тошние берега, добраться сюда с «материка» возможно было лишь пешему, и то с проводником, знающим, где пройти, чтобы не стинуть где-нибудь в трясине.

Этим путем и прибыла в начале июля на Ягыл-Яг комиссия из Новосибирска, дабы выяснить, что происходит на территории Кулайской комендатуры. Провели на Ягыл-Яге члены комиссии десять дней, долго добирались обратно в Новосибирск и краевому начальству об увиденном доложили 19 августа. Присутствовали на том заседании представители ОГПУ, прокуратуры, административного управления (милиции) Западно-Сибирского края, административного управления Ом-

ского округа, краевой прокуратуры, земельного и переселенческого управлений, Сибздрави. В Государственном архиве Новосибирской области сохранился протокол того заседания<sup>9</sup>. Докладывал на нем работник краевого земельного управления Белокобыльский. Приведу выдержки из его доклада:

«...Высланные кулаки расселены за болотами на весьма низком месте – четыре поселка во время весеннего половодья затопляются. По приблизительному подсчету можно насчитать 2500 га чуть-чуть возвышенных мест, остальная часть заболочена и покрыта моховыми ряновыми болотами... Постройка произведена: избушки без моху, прорезаны окна, но не застеклены ввиду отсутствия стекла, крыши отсутствуют, забросаны кое-как березовой корой, полы в очень редких избушках деревянные, большинство – земляные. На вспаханных почвах произрастание огородных культур остановилось на стадии развития первых листьев. Стебель картофеля тонкий, чахлый, с предпосылкой на гибель. В момент нашего пребывания там, до 16 июня включительно, в утренние зори температура доходила до нуля градусов, было несколько инеев, почва в низких местах до сих пор промерзшая, протяла не более чем на 1–1,5 метра... Заниматься там сельским хозяйством, учитывая вышесказанное и большую затрату рабочей силы на раскорчевку леса, – хозяйственно нецелесообразно... Можно заниматься выгонкой дегтя (корня березового достаточно), но в силу отсутствия гужевых и водных путей транспортирование в летнее время совершенно невозможно...

К расселению кулаков предназначалось 11600 человек, а на место прибыл 8891, сбежали 6622, померло 80, освобождены 208 человек, и осталось на месте к моменту обследования 1607. (Наркому внутренних дел в Москву местные органы НКВД в июле доложили, что на Ягыл-Яге находится 11053 спецпереселенца. – В. М.) Оставшиеся кулаки – старые, малые, больные и те, которые предполагают, что они должны быть освобождены. До 1 мая получали по 15 фунтов муки на члена семьи и 30 фунтов на главу семьи. С 1 мая за отсутствием муки получают немолотую рожь. Имеются ручные жернова, на которых размол производится самими же кулаками. Ввиду малочисленного пайка мешают всевозможные травяные и древесные суррогаты. Вместо чая употребляют перегнившие шишки. Заболеваемость доходит до 80 процентов населения, преобладают желтизна, опухоли, дизентерия. Совершенно отсутствует какой бы то ни было учет кулацкого населения, даже неизвестно о родившихся и умирающих...

С момента заброски кулаков сена лошадям не было, доставили только овес, который выдавали на каждую лошадь по 5 фунтов; кормили лошадей – раскапывая снег, собирали листву. Комендатура же имела часть сена. В данный момент осталось кулацких лошадей 333, а было приведено 2254. Пало 877, бежавшими кулаками уведено 895. Оставшиеся лошади к работе, ввиду истощения, исправились до сих пор недостаточно. Из 877 павших лошадей подобраны кожи приблизительно 300–350 штук, остальные заброшены...

В момент бегства кулачества комендатурой задерживалось до 500 человек; в связи с их неподчинением возвращаться, принимались репрессивные меры. Бежавшее кулачество из-за болот в появлении их в распухшем и пожелтевшем виде среди населения Тарского района, и вообще среди тех районов, в которых оно появилось, вело живую агитацию, что, полагаю, ни для Советской власти, ни для партии не полезно. На основании вышеизложенного комиссия считала бы необходимым кулацкие хозяйства перевести в другое, более подходящее для занятия сельским хозяйством место. А наличный штат комендатуры, в связи с его переутомленностью и истрепанностью нервов, требует немедленной замены...

А вот выдержки из выступлений участников заседания:

Мыльников (административное управление Омского округа): «...При решении этого вопроса необходимо учесть, что в переселение вложены средства, следовательно, надо привлечь внимание, сколько придется вложить еще, а отсюда учесть возможность переселения... Вопрос о побеге кулаков с места и по пути следования сам говорит за себя, что это как следствие непримиримости... Необходимо учесть и насколько политически выгодно сейчас переселение в другое место, т. е. они строят свое бегство на невозможности обжития места»;

Меркулов (краевое земельное управление): «...По-моему, они сидят не на месте, и их нужно довести на место; если оставить там, то оставим на верную гибель»;

Булатов (ОПТУ): «...С заключением комиссии не согласен в той части, что их надо перевести немедленно и что они бегут отсюда из-за голодного пайка. По-нашему, они отсюда бегут из-за нежелания осваивать эти места и непримиримости. Переводить их на юг – это было бы сейчас очень нелепым»;

Помялов (ОПТУ): «...Ликвидировать комендатуру не следует... Оценку местности пока не проводить: акт комиссии весьма односторонен – не указывает положительных фактов этой местности».

Судя по выступлениям, часть присутствовавших на заседании не хотела признать свою вину в том, что происходило за болотом. Тем не менее разум возобладал (если вообще можно говорить о каком бы то ни было разуме тех, кто организовал то бесчеловечное переселение): комендатуру с еще оставшимися на Ягыл-Яге ссыльными всё же было решено в сентябре перевести южнее – в окрестности другой таежной реки со своеобразным названием Шиш.

А провозглашенная Сталиным «ликвидация кулачества» повсеместно продолжалась. Выселяли на необжитые земли новые партии «сибирских кулаков»; на железнодорожные станции Омска и Томска прибывали эшелоны с раскулаченными крестьянскими семьями из-за Урала, которым предстоял путь дальше на север уже на баржах по сибирским рекам. «В основной операции должна закончиться к концу навигации, 25–30 октября сего года, – писал руководству Западно-Сибирского края начальник краевой милиции в докладной записке о спецколонизации Нарымского края<sup>10</sup>. – В противном случае не исключается возможность повторения бедствий, усугубленных перспективой надвигающейся зимы (массовые побег, детская смертность, понижение работоспособности, срыв всей операции)». В докладной записке перечисляются вопросы, требующие срочного решения. Один из них – вопрос «снабжения спецпереселенцев одеждой, в особенности обувью, т. к. подавляющее большинство переселяемых кулаков и их семей в данное время не имеют сапог, пимов, рубах и т. д. Необходимо забросить лапти и хотя бы самое необходимое из одежды...»

«Бог создал рай, а черт – Нарымский край», – говорили спецпереселенцы. Прочсть об этом крае можно и в Советском энциклопедическом словаре: «В царской России Нарымский край – место политической ссылки... Отбывали декабристы, участники польских восстаний 1830–31 гг. и 1863–64 гг., народники, социал-демократы (Я. М. Свердлов, В. В. Куйбышев и др.)». О том, что в уже Советской России в 30-х и 40-х годах XX века в Нарымский край (с 1932 года ставший округом) было насильно доставлено на т. н. спецпоселение более четырехсот тысяч раскулаченных, административно-ссылных, депортированных и прочих, по тогдашней терминологии, «социально опасных и социально чуждых элементов», – ни слова. Кстати, слова «спецпоселение», «спецпереселенцы» вообще были для печати запретными.

Что же касается социал-демократов, среди которых были большевики, о пребывании которых в Нарымской ссылке



впоследствии были написаны монографии, изданы книги, защищены диссертации, то количество их в ссылке не превышало двухсот человек. Ссылали «политических» на три года и меньшие сроки, жили они в приобских селах, квартировали у местных жителей, работать их не заставляли, оставшиеся дома семьи гонениям не подвергались. Высланный в Нарым Куйбышев писал в августе 1910 года своей знакомой Р. И. Райх:

«...Сейчас закончил переезд на новую квартиру. Обиталище мое состоит из двух комнат: одна величиной с Вашу, а другая, проходная, раза в два меньше. Цветы, приличная мебель, небезобразный диван. Расстелил ковер, повесил занавески, покрыл стол скатертью – и получилась очень приличная квартира, в которой можно жить и не нарымцу... Строю кое-какие планы относительно занятий, не знаю, удастся ли осуществить. Думаю, между прочим, изучить историю русской литературы, но уже не по общему курсу, а хочу взять какое-нибудь литературное явление, какого-нибудь одного писателя и изучить его...»<sup>11</sup>

Политические ссыльные получали ежемесячное пособие по 7 рублей 70 копеек на человека. В то время в Нарыме пуд ржаной муки стоил 80 копеек, фунт черного хлеба – 2 копейки, белого – 5 копеек, ведро картофеля – 8 копеек, фунт гречневой крупы или пшена – 5 копеек, фунт сахара – 18 копеек. Кроме пособия на покупку продуктов и оплату жилья, каждому ссыльному выдавали 18 рублей 43 копейки на приобретение зимней одежды. А ведь это были те, кто открыто стремился к свержению существующего строя, призывал к революции и насилию. В том числе и побывавший здесь в 1912 году Иосиф Джугашвили. Естественно, этот факт биографии товарища Сталина не мог быть впоследствии оставлен без внимания местными партийными органами, и в домике, где жил тогда еще будущий вождь мирового пролетариата, был открыт мемориальный музей.

В Центре документации новейшей истории Томской области сохранилась поэма «Привет Нарыму», написанная режиссером Белорусского драматического театра Львом Литвиновым, побывавшим в 1943 году с труппой театра в этом музее. Поэма длинная, приведу лишь часть ее:

...А этот домик низенький, простой;  
Забор бревенчат, двор зарос травой,  
Под серой крышей он стоит,  
О нём, о Сталине, он ясно говорит:  
«Вот след его шагов на махоньком крыльце,  
Я помню думу строгую на смуглом на лице...»

Его сундук, и стол, и та кровать...  
И в день мечтал, и в ночь не мог он спать.  
Он рвался, сокол, в мир, в борьбу,  
Он нес в руках земли своей судьбу.  
И улетел. Стрелой в небо взмыл.  
А след горяч, а след-то не остыл...  
Орёл, скажи, где тропки те в тайге,  
Овраги, рвы, путей развилки,  
Что тихо путь казали трепетной ногой  
Его, увешанного в двенадцатом из ссылки?  
Скажите, мхи, на вас он отдыхал?  
А ты, смородина, ему служила пищей?  
Не ты ли, стог, его в себе скрывал  
От тех, кто по тайге за ним с собакой рыщет?

Видимо, автору поэмы не поведали, что вождь, оставивший в Нарыме «след трепетной ноги», покинул это место отнюдь не столь романтично. Сын женщины, у которой он снимал комнату (а обитал отец народов здесь в ссылке чуть больше месяца), отвез его на лодке в соседнее Колпашево, откуда «орел улетел», то бишь благополучно уплыл по Оби на пароходе. В стогу ему прятаться надобности не было, но во мху он, быть может, и отдыхал, хотя заниматься физическим трудом в Нарыме ему не приходилось. А когда впоследствии, крепко взяв в руки «земли своей судьбу», он отправил в Нарымский край корчевать тайгу и погибать от голода сотни тысяч крестьян, то, дабы неповадно было тем отсюда сбегать, в местные отделы ОГПУ была разослана инструкция по борьбе с побегими: «Всех кулаков, бежавших из мест расселения, проявляющих активную антисоветскую деятельность, арестовывать и привлекать по соответствующим статьям, направляя следственные дела через сектор на рассмотрение в особую тройку при ПП ОГПУ»<sup>12</sup>.

Сбежавших из ссылки обратно в свои деревни женщин с детьми до поры до времени не трогали, но строптивых мужиков передавали в распоряжение вершивших их судьбу «троек». Тем, кто где-то скрывался, избежать ареста удавалось дольше, но рано или поздно их всё равно обнаруживали и арестовывали. Бежавший с Ягыл-Яга мой земляк по Красноярку Василий Тихонович Баженов рассказывал, что в домзаке (доме заключения) в Пологрудово (Омский округ), где вместе с ним находились такие же, как он, беглецы, тюремные камеры были так набиты арестантами, что возможно было только стоять, тесно прижавшись друг к другу.

В 1930 году газета «Правда» периодически сообщала о продолжающемся строительстве социализма в СССР и соответ-



ственно возрастающих темпах коллективизации сельского хозяйства. Действительно, колхозов становилось всё больше, количество крестьян-единоличников, еще пытавшихся держаться за свои хозяйства, быстро уменьшалось. Немалую роль в этом сыграло то, что происходило тогда в каждом селе и в каждой деревне у всех на глазах. В представленной председателю Западно-Сибирского крайисполкома Клименко докладной записке информационного отдела ОГПУ Сибкрая «Об экспроприации кулачества в Сибири»<sup>13</sup>, в частности, говорилось: «Количественно бурный рост коллективизации... не был целиком результатом действительного колхозного движения масс, а в значительной степени явился результатом превращения раскулачивания в стимул коллективизации, т. е. коллективизация, вопреки установкам партии, явилась следствием раскулачивания». Весьма красноречивое признание, и надо отдать должное его автору, это признание сделавшему (хотя и под грифом «Совершенно секретно»). Очевидно, и появление в граничащем с Васюганьем Тарском районе бежавших с Ягыл-Яга опухших от голода «кулаков» (о чем один из выступавших на ранее упомянутом мной заседании Западно-Сибирского крайисполкома сказал, что подобная «живая агитация не полезна ни партии, ни правительству») кое-кого из видевших тех несчастных людей склонило к вступлению в колхоз. У «колеблющихся» был ограниченный выбор: либо в колхоз, либо в тайгу... Тем более что толкование, кого считать «кулаком», а кого – «честным тружеником», было весьма произвольным, и доводившиеся каждому сельсовету плановые цифры по раскулачиванию грозили принудительным осваиванием Нарымского края и середнякам, что часто и происходило.

Несмотря на то что все бывшие в свое время более или менее состоятельными крестьяне были разорены, а имевшееся у них имущество передано колхозам, задача «очистения» деревни от «чуждого элемента» еще не была выполнена, и первая волна насильственного переселения раскулаченных крестьян в 1930 году явилась лишь своего рода генеральной репетицией. Последовавший за ней куда более опустошительный вал «ликвидации кулачества как класса», а по сути своей – окончательного раскрестьянивания деревни, прокатился по Советской России весной 1931-го. 15 марта всем полномочным представителям ОГПУ республик, краев и областей был отправлен из Москвы меморандум, озаглавленный «О проведении массовой высылки раскулаченных»<sup>14</sup>. Подписал меморандум занимавший в ту пору пост заместителя председателя ОГПУ, член ко-

миссии ЦК ВКП(б) по спецпереселению Ягода. «В целях полной очистки от кулаков, с мая по сентябрь 1931 года намечено провести массовую операцию по кулачеству с высылкой в отдаленные местности Союза со всех областей, – оповещал Ягода – Для проработки этой операции предлагается: 1. Установить количество кулацких хозяйств (в том числе раскулаченных и распроданных в прошлом году), подлежащих высылке. 2. Установить теперешнее местонахождение кулацких хозяйств, в особенности глав семей. 3. Агентурным путем установить бежавших с постоянного места жительства и из ссылки кулаков, проникших на работу в промышленность, шахты, скрывающихся в городах. 4. Проверить состав колхозов, учесть проникших в колхозы кулаков...»

В этом изложенном присущим большинству подобных документов тех лет косноязычно-канцелярским языком меморандуме приобретает страшный смысл слово «очистка» стало сигналом к еще более безжалостному преследованию уже разоренных «кулаков». Не должно было быть им места нигде, кроме как в тайге, за болотами и на болотах, где половине «кулацкого отродья» суждено погибнуть. Всех их, еще скрывающихся, бежавших в города, «проникших в промышленность и на шахты», вступивших в колхозы, – всю эту белую крестьянскую кость надлежало в течение пяти месяцев выявить, «изъять» и отправить туда, куда ворон костей не заносил... В 1931 году с санкции Политбюро ЦК ВКП(б) предусматривалось выселить на труднодоступные необжитые территории почти двести тысяч «кулацких семей». В ту пору семьи в деревнях были многодетными – на спецпоселение надлежало отправить более миллиона человек.

В Западно-Сибирском крае в предшествовавшем году доведенное из Москвы задание – переселить 50 тысяч семей – выполнено не было: выгнали из родных сел и отправили обживать берега таскных рек только двадцать тысяч. Следовало исправиться... 27 апреля 1931 года на заседании бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) было принято решение: «В целях укрепления существующих колхозов и пресечения вредительской антиколхозной работы кулачества, провести в период с 20 мая по 10 июня экспроприацию и выселение кулацких хозяйств исходя из ориентировочного расчета 40 тысяч хозяйств... Экспроприации и выселению из сельских и городских местностей края подвергнуть также кулаков, проникших в колхозы, совхозы, промпредприятия и советско-кооперативные учреждения»<sup>15</sup>. Таким образом, количество крестьянс-

ких семей, чьим местом жительства должны были стать дотопле не обжитые заболоченные территории, составляло, включая высланных ранее, уже не пятьдесят тысяч, как намечалось весной прошлого года, а шестьдесят.

Одновременно в «верхах» появились: если вывозить этих лишенцев в заснеженную тайгу, как это сделали, отправляя их на Ягыл-Яг, то ни о какой «спецколонизации» Нарымского края говорить не придется. Решили: целесообразнее доставлять очередных переселенцев на места их подневольного проживания водным путем. Сколько людей можно набить в трюмы барж! Не надо организовывать мобилизацию «гужа»; куда меньше потребуются конвоиров, ведь по дороге в ссылку с баржи не сбежишь. Сделали организаторы «массовых операций» вывод и из предыдущего печального опыта конфискации у лишенцев вещей первой необходимости. В упомянутом выше Постановлении Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) от 27 апреля 1931 года «О ликвидации кулачества как класса» (стандартная формулировка) оговорено, что у «высылаемых кулацких хозяйств не конфискуются предметы домашнего обихода, мануфактура, одежда и обувь, если их количество не выходит за пределы личного потребления». Иначе пришлось бы снова принимать решение о «заброске» в спецпоселки одежды и лаптей...

В мае, лишь только прошел по сибирским рекам ледоход, вслед за последними плывущими по полоой воде истинно плавающими льдинками потянулись колесные пароходики низко осевшие баржи с обреченным обживать заболоченные нарымские земли народом. Плыли по широко разлившемуся половодью; плеская мутную весеннюю воду, шлепали лопасти пароходных колес, и входили в судьбы тысяч и тысяч людей неведомые им ранее реки: Кеть, Нюролька, Парабель, Чья, Чижатка, Тым, Васюган...

В 1930 году в Нарымский край завезли, включая «западных кулаков» из-за Урала, свыше пятидесяти тысяч подневольных переселенцев; во время «массовой операции» 1931 года – в три с половиной раза больше. Измученных дальней дорогой людей (кое-кто умер уже в пути) высаживали на яры в дикую, неприютную тайгу, где роились тучи лынущего к телу гнуса. А по рекам натужно тянули мимо в верховье колесные пароходики с новыми спеццами. Кричали им с берега уже привезенные сюда на поселение ранее:

– Откель вы?

И доносилось в ответ:

– Карасукские, Сузунские, Большерецкие, Кыштовские...

– Какая тут жизнь?

– Гибельная...

Далеко разносился над водой тоскливый крик, и долго бились о крутояр вслед уходящим баржам спадавшие речные волны...

Сколько загубленных душ, сколько сломанных судеб! В Мемориальном музее истории политических репрессий (г. Томск) хранятся воспоминания тех первых спецпереселенцев.

«Из девяти членов нашей сосланной с Алтая семьи погибло четверо, – пишет Георгий Алексеевич Шарабаров. – Мой восьмидесятилетний дедушка сумел из ссылки сбежать, но, когда вернулся в родное село, тамошний председатель сельсовета сказал, что беглых кулаков будут расстреливать. Испугавшись, старик ушел куда глаза глядят и безвестно спинул. Матери моей, когда нас раскулачили и выптали из дома, было двадцать пять лет. От горя она сошла с ума и, когда нас привезли в Нарым, повесилась».

Если судить по архивным документам и директивам тех лет, спецпереселенцам выделялись фонды муки и крупы, благодаря которым можно было существовать. В некоторых документах даже упоминаются сахар и чай. Но, видимо, выделялось продовольствия недостаточно, а может быть, часть его до тех, кому оно предназначалось, не доходила. В спецпоселках царил голод. Екатерина Сергеевна Лукина была выслана с родителями на Васюган из Красноярского края. «Питались в основном мучной болтушкой, – вспоминает она. – Так казалось больше, чем печь из муки хлеб. Мы, дети, таскали глину, из которой взрослые били печи. Давали нам по шесть килограммов муки на месяц, мука была заплесневелая, комками... Были мы слабые: больше двух-трех лопат глины унести в ведре не было сил. Люди стали пухнуть и умирать. Хоронили без гробов в братские могилы, которые копали каждый день... Паек давали только тем, кто мог работать, слабосильные были обречены»<sup>16</sup>.

А вот что написал о том времени Вениамин Макарович Курченков, высланный с родителями из Алтайского края:

«Весной 1931 года по берегам таежной необжитой Кети было расселено, точнее, обречено на гибель или самовывживание около двадцати тысяч раскулаченных крестьян, высланных из хлебородных мест Алтая и Барабинской степи. Очувтившись в заболоченной тайге без крыши над головой, при огромном скопище гнуса, люди оказались в каторжных условиях. Пытались болтушкой с малой толикой муки, травой, молотыми побегами кустарника, и при этом надо было корче-



вать лес, строить избенки... Началась массовая смертность. В большинстве своем семьи были многодетные, в первую очередь страшные муки терпели дети. Не менее мучительно было их матерям, которые не в силах были своих детей спасти. Вымирала целиком семья. В поселках Городецк, Палочка, Суйга, Проточка из семи тысяч восьмисот сосланных туда людей через два года в живых осталось около двух тысяч. В поселке Восточка, куда были привезены люди с Горного Алтая, не приспособленные к нарымскому климату, вымерли все поголовно»<sup>17</sup>.

И еще одно страшное свидетельство очевидца того, что тогда происходило. В изданной в 1995 году книге кандидата исторических наук В. Н. Уйманова «Репрессии. Как это было...» приведены воспоминания бывшего коменданта Чаинской комендатуры И. Т. Бочарникова:

«...Есть людям было совсем нечего... Цинга косила людей. От истощения и тифа сваливались тысячами. Хоронить мертвых не успевали. Трупы укладывали в штабелях на берегу рек... Очищая совесть за людскую гибель, выполняя инструкции, я каждую декаду строчил донесения с обозначением числа погибших от тифа, цинги, замерзших, умерших голодной смертью и т. д. Я указывал на необходимость принятия неотложных мер по спасению людей, но полномочное представительство в ответ на мои просьбы хранило упорное молчание... После первой зимы от сорока тысяч человек-лишенцев в живых оставалась еще половина. После второй – едва пять тысяч. Подсчет был точный... Пять тысяч от сорока. Мужчин меньше, чем женщин. Стариков – единицы. Детей – никого»<sup>18</sup>.

И опять не могу не сопоставить трагедию спецпереселенцев с условиями жизни сосланных царским правительством в Нарымский край большевиков. Сошлюсь на изданную в 1970 году в Томске книгу «Нарымская ссылка (1906–1917 гг.): Сборник документов и материалов о ссыльных большевиках». «Одной из форм борьбы ссыльных большевиков против существовавшего режима ссылки были их письма и телеграммы в Государственную думу и Министерство внутренних дел, – сообщает автор. – Небольшая помощь поступала от Красного Креста, находившегося за границей... Часто медицинскую помощь оказывали сами ссыльные, среди которых находились врачи и фельдшера. Причем их услугами пользовались не только товарищи по ссылке, но также и местное население... Согласно уставу, выработанному политическими ссыльными, высшим органом самоуправления являлся делегатский съезд

политических ссыльных, который собирался ежегодно... Органы самоуправления организовывали общественные столовые и клубы, потребительские лавки и кассы взаимопомощи, решали вопросы об организации побегов из ссылки, проведении культурно-просветительских мероприятий, борьбы против полицейского режима, организации митингов, сходок, демонстраций, получении нелегальной литературы... Велась довольно оживленная переписка с заграничным центром, с местными организациями. Ссыльные получали решения партийных органов, нелегальную литературу, денежные средства... Ежегодно в день международного праздника трудящихся 1 Мая в Нарымском крае проводились митинги и массовки, в которых принимали участие не только политические ссыльные, но и местное население. Колонны демонстрантов с пением революционных песен проходили по улицам Нарыма, Парабели и других деревень и сел. Над ними гордо развевались красные знамена, раздавались призывы к борьбе с самодержавием...»<sup>19</sup>

Комментировать контраст между Нарымской ссылкой большевиков и уготованной пришедшими к власти этими же большевиками ссылкой в Нарымский край крестьян у меня нет слов...

«Массовая операция» 1931 года не была завершающей. За ней последовали другие. Со всей многострадальной России везли на спецпоселение «социально чуждых» и «социально опасных».

Страшный тому пример – трагедия на речном острове в нижнем течении Оби, прозванном из-за случившегося Островом смерти. И хотя спустя шестьдесят лет об этой трагедии было рассказано в печати, всё же напоминая читателям, что тогда произошло.

К началу 1933 года, первого года второй пятилетки, во время которой, как было заявлено на XVII съезде ВКП(б), должно было быть завершено построение социалистического общества в СССР, ненавидимое Сталиным и его окружением зажиточное крестьянство России было разорено, а те, кто к этому классу причислен, отправлены выживать либо погибать на пустынных берегах северных рек. Деревня от «враждебного элемента» была «очищена». Настала очередь «очистки» городов.

Решить эту задачу в Кремле намерились посредством паспортизации городского населения, дававшей возможность воспрепятствовать стихийному перемещению сотен тысяч людей, сбегавших из обнищавших и голодных деревень в го-



рода, и одновременно выявить т. н. деклассированный элемент. Всех «социально чуждых» и «социально вредных» власти тогда вознамерились отправить осваивать труднодоступные места Западной Сибири, как это ранее уже ими было опробовано на раскулаченных крестьянах. 7 февраля 1933 года в находившееся в Новосибирске полномочное представительство ОГПУ поступила по прямому проводу директива заместителя председателя ОГПУ Ягоды: «Срочно подготовиться к приему и расселению на удаленной от железных дорог территории Западной Сибири миллиона человек»<sup>20</sup>. Масштабы, способные возникнуть лишь в чьем-то воспаленном мозгу... Сто тысяч человек из этого миллиона Ягода предлагал отправить к местам их будущего поселения не дожидаясь вскрытия из-под льда рек, зимним путем. Судя по всему, происходившее три года назад на Ягыл-Яге ничему не научило.

И хотя «нет таких крепостей, которые...», после получения этой директивы секретарь краевого комитета ВКП(б) Эйхе спешно отправил в Москву шифрограмму на имя Сталина: «Предложение совершенно нереально и объяснимо только тем, что товарищи, составляющие наметку плана, незнакомы с условиями Севера... Так же невыполнимо предложение о завозе санным путем в северные районы 100 тысяч человек... Потребовалось бы мобилизовать 30–35 тысяч лошадей, что превышает всё конское поголовье северных районов... Летний завоз спецпереселенцев считаем возможным 250–270 тысяч человек»<sup>21</sup>. В ответ последовало указание Сталина «уточнить возможности краевых органов по размещению деклассированного элемента». Опасаясь нежелательных последствий, Эйхе телеграфировал в Москву, что в крае могут принять и разместить новый контингент в количестве пятисот тысяч человек.

Торг еще шел, а в городах уже начались массовые облавы. Людей, не имевших при себе удостоверявших личность документов, хватили на улицах и вокзалах и загоняли в подготовленные для отправки в Сибирь товарные вагоны. Царившие во время этой акции вакханалию и произвол трудно представить... В апреле эшелоны с «новым контингентом» стали прибывать в Томск, Омск и Ачинск. За время длительного пути из-за Урала люди отощали, в некоторых эшелонах возникли эпидемии сыпного тифа и дизентерии. Появились первые умершие... По прибытии эшелонов в сибирские города, где заранее спешно оборудовали пересыльные лагеря, покойников, а также больных, которые были не в состоянии самостоятельно передвигаться, выгружали из вагонов на носилках.

Навигация открылась в начале мая, и вслед за еще плавшими по рекам истончавшимися льдинками пароходы потонули на Север прицепленные тросами баржи, трюмы которых были набиты людьми. Более чем шести тысячам из них предстоял путь в самую отдаленную, Александро-Ваховскую комендатуру. Конвоем было приказано людей из трюмов на палубу не выпускать, а капитанам пароходов – безостановочно следовать к месту следования. Далее приведу выдержки из письма, отправленного в августе 1933 года по трем адресам: в Москву Сталину, в Новосибирск секретарю Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) Эйхе, в Колпашево секретарю Нарымского окружкома ВКП(б) Левицу. Написал его инструктор окружкома В. А. Величко. Не будь этого письма и созданной в результате него комиссии, многое бы в той назинской трагедии осталось неизвестным, а жертв было бы еще больше.

Из письма Василия Арсентьевича Величко:

«...29 и 30 апреля из Москвы и Ленинграда были отправлены на трудовое поселение два эшелона деклассированных элементов. Эти эшелоны, подбирая по пути следования подобный же контингент, прибыли в г. Томск, а затем на баржах – в Нарымский округ: 19 мая (первый) и 26 мая (второй) эшелоны были высажены на острове Назино на Оби против остицкорусского поселка и пристани этого же названия (Александровский район, северная окраина Нарымского округа). Первый эшелон составлял 5070 человек, второй – 1044. Всего 6114 человек. В пути, особенно в баржах, люди находились в крайне тяжелом состоянии: скверное питание, скученность, недостаток воздуха, массовая расправа наиболее отъявленной части над наиболее слабой (несмотря на сильный конвой). В результате – высокая смертность, например, в первом эшелоне она достигала 35–40 человек в день.

Первый эшелон пристал к острову в прекрасный, солнечный день. Было очень тепло. В первую очередь на берег были вынесены до 40 трупов, и потому, что было очень тепло, а люди не видели солнца, могильщикам было разрешено отдохнуть, а затем приступать к своей работе. Пока могильщики отдыхали, мертвецы начали оживать. Они стонали, звали о помощи, и некоторые из них поползли по песку к людям. Так из этих трупов ожили и стали на ноги 8 человек... Остров оказался совершенно девственным, без каких бы то ни было построек. Люди были высажены в том виде, в каком были взяты в городах и на вокзалах: в весенней одежде, без постельных принадлежностей, очень многие босые.

На острове не оказалось никаких инструментов, ни крошки продовольствия; весь хлеб вышел, и в баржах также продовольствия не оказалось. А все медикаменты, предназначенные для обслуживания эшелонов и следовавшие вместе с эшелонами, были отобраны еще в Томске. Однако все сомнения комендантом Александровско-Ваховской участковой комендатуры Цепковым были разрешены так: "Выпускай... Пусть пасутся".

На второй день прибытия первого эшелона, 19 мая, выпал снег, поднялся ветер, а затем мороз. Голодные, истощенные люди очутились в безвыходном положении. Обледеневшие, они были способны только жечь костры, сидеть, лежать, спать у огня. По острову пошли пожары, дым. Люди начали умирать. Они заживо сгорали во время сна, умирали от истощения и холода, от ожогов и сырости, которая окружала людей. В первые сутки после солнечного дня бригада могильщиков смогла закопать только 295 трупов, небранных оставили на второй день. Новый день дал новую смертность и т. д.

Сразу же после снега и мороза начались дожди и холодные ветры, но люди всё еще оставались без питания. И только на четвертый или пятый день прибыла на остров ржаная мука, которую и начали раздавать трудпоселенцам по несколько сот грамм. Получив муку, люди бежали к воде и в шапках, портянках, пиджаках и штанах разводили болтушку и ели ее. При этом огромная часть их просто съедала муку, и люди, задыхаясь, умирали от удушья.

Кипятка не было. Кровом оставался тот же костер. Вскоре началось изредка, а затем в угрожающих размерах людоедство. Сначала в отдаленных углах острова, а затем – где подвертывался случай. Людоеды стрелялись ковром, уничтожались самими поселенцами. А комендатурой острова были зарыты в землю тысячи килограммов муки, так как она находилась под открытым небом и испортилась от дождей. Даже та мука, которая выдавалась трудпоселенцам, попадала не всем. Ее получали так называемые бригадиры, т. е. отъявленные преступники. Они получали мешки муки «на бригаду» и уносили их в лес, а бригада оставалась без пищи. Дошло до того, что, когда впервые привезли на остров муку, ее хотели раздавать пяти тысячной массе в порядке индивидуальном, живой очереди. Произойти неизбежное: люди струдились у муки и по ним была произведена беспорядочная стрельба. При этом было меньше жертв от ружейного огня, чем затоптано, смято, и давлено в грязь.

Комендатура острова и ее военные работники, во-первых, мало понимали свои задачи по отношению к людям, которые были под их началом, и, во-вторых, растерялись от разразившейся катастрофы. Иначе и нельзя расценить систему избиваний палками, прикладами винтовок и индивидуальный расстрел трудпоселенцев.

Образовались мародерские банды и шайки, по существу царившие на острове. Даже врачи боялись выходить из своих палаток. Открылась настоящая охота в первую очередь за людьми, у которых были деньги или золотые зубы и коронки. Владелец их исчезал очень быстро. Мародерство захватило и некоторых стрелков, за хлеб и махорку скупавших золото, платя и др.

Моментом, усиливающим смертность, явилось отсутствие какого бы то ни было физического производительного труда. За всё время пребывания на острове трудпоселенцы ничего не делали; тот, кто не двигался или мало делал движений, умирал. В такую обстановку попал и второй эшелон, быстро воспринявший порядки острова.

В конце мая (25–27) началась отправка людей на так называемые участки, т. е. места, отведенные под поселки. Участки были расположены по реке Назино, за 200 километров от устья. Поднимались туда на лодках. Участки оказались в глухой, необитаемой тайге, также без каких бы то ни было подготовительных мероприятий. Здесь впервые начали выпекать хлеб в наспех сооруженной одной пекарне на все пять участков. Продолжалось то же ничегонеделание, как и на острове. Тот же костер, всё то же, за исключением муки. Истощение людей шло своим порядком. Достаточно привести такой факт. На пятый участок с острова пришла лодка в количестве 78 человек. Из них оказались живыми только 12. Смертность продолжалась.

Участки были признаны непригодными, и весь состав людей стал перемещаться на новые участки, вниз по этой же реке, ближе к устью. Бегство, начавшееся еще на острове (но там было трудно: ширина Оби, шел еще лед), здесь приняло массовые размеры. Люди, не зная, где они, бежали в тайгу, плыли на плотях, погибали или возвращались обратно.

После расселения на новых участках приступили к строительству полуземляных бараков, вошебок и бань только во второй половине июля. Здесь еще были остатки людоедства, а на одном из участков (№ 1) закапывались в землю испорченные мука и печеный хлеб, на другом участке (№ 3) портилось



пшено. Жизнь начала входить в свое русло, появился труд, однако расстройство организмов оказалось настолько большим, что люди, съедая по 750–1000 граммов (пак) хлеба, продолжали заболеть, умирать, есть мох, листья, траву и пр.

Смертность можно было сократить до минимума, так как она происходила главным образом от поноса, однако, несмотря на строжайшие приказы командования, сухари больным не выдавались, тогда как сухарь спас бы сотни людей, потому что отсутствовали всякие медикаменты, ощущалась острая потребность в вяжущих (против поноса) средствах. При этом огромный запас галет лежал в палатках и базах, так как не было указания, могут или нет пользоваться этими галетами больные. Такая история случилась и с сушеной картошкой. Наступили осенние холода, а больные лежали в палатках, а затем в бараках без окон и дверей. Несмотря на то что поселки находились в тайге, люди лежали на земле, а та часть, которая помещалась на нарах, лежала на мху, в котором немедленно заводились черви. Обмундирование висело в складах, а люди были голы, босы, заедались вшами. Всё описанное так примелькалось начсоставу и работникам большинства участков, что трупы, которые лежали на тропинках в лесу, и те, которые плыли по реке, прибываясь к берегам, уже не вызывали смущения. Более того, человек перестал быть человеком. Везде установилась кличка и обращение – “шакыл”.

3 августа с Назинской базы на участок № 5 была отправлена со стрелком т. Шагилом лодка с людьми. Их нигде не снабдили, и они оставались голодом, проезжая участки, прося хлеба. Им нигде не давали, и из додки на каждом участке выбрасывали мертвых. На 5-й участок прибыло 36 человек, из них – 6 мертвых. Сколько человек выехало, так и не удалось установить.

В результате всего из 6100 человек, выбывших из Томска, и плюс к ним 500–600–700 человек (точно установить не удалось), переброшенных на Назинские участки из других комендатур, на 20 августа осталось 2200 человек. Остров прозван Островом смерти. Местное население усвоило это название, а слух о том, что было, разнесся далеко вниз и вверх по рекам.

На острове сейчас травы в рост человека. Местные жители ходили туда за ягодами и вернулись, обнаружив в траве трупы и шалаши, в которых лежат скелеты<sup>22</sup>.

Комментировать не буду.

Сегодня в архивных документах (во всяком случае, доступных для исследователя) невозможно найти полных и система-

тизированных данных о количестве умерших в тридцатых годах «спеццов». Но ясно, что наибольшие потери понесло крестьянство. Есть ли в этом умысел тех, кто не хотел, чтобы потомки знали о размерах постигшей крестьянство трагедии, либо количеству погибших тогда не придавали значения? Лес рубят – щепки летят... «Ликвидация кулачества» включала в себя не только экспроприацию имущества.

«Учет – зеркало социализма», – утверждал Ленин. И, как бы там ни было, ОГПУ и Наркомату внутренних дел были необходимы регулярные сведения о численности закрепощенных ими людей. В том числе и на территории Нарымского округа. Сколько их, сколько прибыло, какое количество и по каким причинам выбыло. Такая отчетность существовала. Частично она смогла стать достоянием гласности лишь в начале девятидесятых годов благодаря изданному в Новосибирске сборнику «Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 – начало 1933 г.». Но сведений о смертности спецпереселенцев на территории Нарымского округа в 1930 году, как и о количестве умерших там людей с сентября 1932 по декабрь 1933-го, – нет. Видимо, составителям сборника таких данных обнаружить не удалось. А ведь для тысяч и тысяч оказавшихся там людей именно эти годы были самыми страшными.

Воспоминания очевидцев, в том числе и приведенные в этом исследовании, свидетельствуют, что смертность спецпереселенцев в начале тридцатых годов была очень велика. С большой долей вероятности могу сказать, сколько сосланных взрослых и детей погибло тогда на территории Средне-Васюганской комендатуры, где я провел почти двадцать лет. Жил в Красноярске, Маломуромке, Новом Васюгане, Волкове... Неоднократно бывал и в других васюганских поселках, знаю их историю, знаю, что было и что стало с тамошними людьми в тридцатых годах. И не только с их слов.

В краеведческом музее входившего в состав Нарымского округа Каргаска (районный центр в Томской, а ранее – в Новосибирской области) хранится упомянутая ранее комендатурская карта, на которой отмечены участки на Васюгане, куда выгружали спецпереселенцев с барж во время т. н. майской операции 1931 года. На карте указано, сколько людей на каждый участок доставлено, откуда эти люди выселены. Всего тогда на берега таежного Васюгана привезли водным путем 40550 человек, из числа которых 16248 – на территорию Средне-Васюганской комендатуры. На другой, составленной

позже карте северных районов Новосибирской области (хранится в ГАНО) работниками Сиблага сделаны пометки о численности спецпереселенцев во всех подведомственных им комендатурах по состоянию на 1 января 1938 года. К этому времени в Средне-Васюганской комендатуре, переименованной в Васюганскую, насчитывалось 5193 спецпереселенца<sup>23</sup>. Эта цифра приведена и 5 февраля 1938 года в докладной записке начальника ОТП УНКВД Долгих руководству созданной тогда Новосибирской области<sup>24</sup>. Причем Долгих уточняет – в численность населения (5193 человека) включены и спецпереселенцы, восстановленные в правах. «Восстановление» это было весьма своеобразным. В Постановлении ЦИК СССР от 25 января 1935 года, подписанном «всесоюзным старостой» Калининым, говорилось, что «восстановление в гражданских правах высланных кулаков не дает им права выезда с мест поселения»<sup>25</sup>. Зато «восстановленные», практически остававшиеся крепостными, получили право вступать в профсоюзы... Кстати, были внесены изменения и в терминологию, касающуюся ссыльных. В директивных документах спецпереселенцев стали именовать «трудпоселенцами», а спецпоселки – соответственно «трудпоселками». Однако сами сосланные привычно называли себя «спецами». Примечательно, что в некоторых исходивших из УНКВД и ОТПУ документах тех лет, где идет речь о численности подневольных поселенцев, вместо слова «человек» применяется слово «едок». В России счет крепостных шел на души. Но это уже детали...

За шесть с половиной лет, прошедших после пресловутой массовой операции 1931 года, несмотря на то что контингент ссыльных в Нарымском округе пополнялся, население трудпоселков значительно сократилось. В упомянутой докладной записке<sup>26</sup>, являющейся, по существу, итоговым документом деятельности отдела трудпоселений Сиблага ОТПУ с 1931 по 1937 г., Долгих поясняет своему новому начальству причину убыли населения. По его словам, это переброска значительного количества ссыльных на работу в промышленность Кузбасса, отъезд из округа «неправильно высланных», передача нетрудоспособных и инвалидов на иждивение проживающим где-либо родственникам и «прочие причины». Цифр не приводится. В том числе и убывших по «прочим причинам».

По официальным данным Сиблага ОТПУ, на стройки и шахты Кузбасса из Нарымского округа было отправлено менее четырех процентов завезенных сюда семей. Так что ссылка на значительное количество спецпереселенцев, «переброшен-

ных из нарымских комендатур в промышленность Кузбасса», неправомерна. Кстати, отправляли туда людей из комендатур, расположенных ближе к транспортным магистралям. Насколько мне известно, из Средне-Васюганской комендатуры в Кузбасс не отправляли. Зачем было завозить раскулаченные крестьянские семьи сюда, за тысячи километров, по рекам, чтобы затем везти их тем же путем в обратную сторону...

Что же до «неправильно высланных» (формулировка ОТПУ), то, хотя процедура этого признания была многоступенчатой и вопрос решали «верхи», не очень-то склонные признавать свои ошибки, тем не менее с мест принудительного поселения действительно было отпущено свыше одиннадцати тысяч человек (около четырех процентов привезенных на спецпоселение взрослых и детей). Еще одно свидетельство того, как преступно и бесчеловечно происходило «раскулачивание» и всё, с ним связанное. «Товарищи ошиблись, поступили неправильно...» Кстати, никакой компенсации пострадавшие не получали.

Что касается передачи нетрудоспособных и инвалидов на иждивение родственникам, то в Центре документации новейшей истории Томской области сохранилось по этому поводу письмо заместителя ОТП УНКВД по Западно-Сибирскому краю тогдашнему секретарю Нарымского окружкома Левицу, датированное 2 января 1935 года, с грифом «Лично. Совершенно секретно». «По данным, полученным от Вас, у Вас имеется нетрудоспособных женщин, обремененных детьми, стариков, инвалидов, не могущих быть освоенными с точки зрения втягивания их в сельское хозяйство или промышленность, 6250 человек, – говорится в письме. – Эти люди, по существу, являются только иждивенцами комендатуры... Краевой комитет решил всю эту массу, т. е. балласт, ни к чему не способный, рассосать двумя путями. Путем выявления родственников (братьев, сестер и т. д.): списаться с ними и передавать им на иждивение... Не имеющих родственников, дальних и близких, и не подлежащих хоть в какой-то мере быть использованными – после проверки в местных отделениях НКВД и установления, что это лицо ни в чем плохом, антисоветском себя не проявило, нужно освобождать... Ту часть нетрудоспособных, которую можно рассосать по артелям в качестве сторожей, мастеров или инструкторов, не нужно представлять к освобождению»<sup>27</sup>.

Половина тех, кого завозили на необжитые берега северных рек осуществлять спецколонизацию Нарымского края, – старики, дети и инвалиды. Хотя именно они умирали в первую очередь, количество иждивенцев, от которых Сиблаг хотел



так или иначе избавиться, оставалось большим. Но в архивных документах тех лет я не обнаружил данных, сколько этого «балласта» отдел трудпоселков ГУЛАГа ОГПУ «рассосал». Ни в целом по Нарымскому округу, ни в Васюганской комендатуре в частности. Но, исходя из количества указанных в письме нетрудоспособных поселенцев, я определил, что «балластом» оставалось около четырех процентов подневольного населения Нарымского округа. Соответственно в Васюганской комендатуре этот «балласт» составлял около шестисот человек.

Для стариков, инвалидов и обремененных детьми женщин (таковых оставалось очень мало – детская смертность снимала это «бремя») возможность уехать к кому-то на иждивение была благом. Хотя думаю, что не во всех семьях, куда эти люди ехали, были тогда рады лишним ртам, и вообще появлению «раскулаченных» родственников. Что же касается беспомощных стариков и инвалидов, у которых ни близких, ни дальних родственников не было, то им освобождение, как это ни парадоксально, не несло радости. Насильно привезенным в таежную глухомань, где вся их родня поумирала, теперь им разрешали ехать куда глаза глядят. Комендатура от них избавлялась, и никому на всем белом свете эти нищие, безродные люди не были нужны.

Однако наибольшее количество оказавшихся безродными – были дети. Истощенные, не имеющие постоянного крова над головой, побирающиеся, завшивленные, сплошь и рядом больные... В начале тридцатых годов для сирот спецпереселенцев было организовано несколько детских домов. О том, что они из себя представляли, можно судить по докладной записке заведующего Нарымским окружным отделом народного образования, отправленной в мае 1933 года краевым властям в Новосибирск: «Состояние детских домов катастрофическое... Четыре детдома имеют более или менее приличные здания, остальные размещены в бараках, полуземлянках, крестьянских избах. Страшная перегруженность помещений: на одного ребенка приходится 0,25 кв. м площади пола. Дети спят на нарах, под нарами и на полу. Нет постельных принадлежностей. Дети обеспечены одеждой и обувью на 15–75 процентов потребности. Например, детдома Каргасокского района на 825 человек имеют теплых пальто – 323, теплой обуви – 195 пар, кожаной обуви – 302 пары... Из-за отсутствия обуви дети посещают школу по очереди... Совершенно лишены возможности выходить на улицу. Дети получают полуголодную норму питания: 8 кг муки, 0,5 кг крупы, 0,4 кг сахара, 2 кг рыбы,

0,2 кг жиров (на месяц – В.М.). Эта норма выделяется очень неаккуратно... Некоторые детдома были по несколько дней без питания»<sup>28</sup>.

В Васюганской комендатуре, находившейся на территории упомянутого выше Каргасокского района, имелось два детдома – Средне-Васюганский и Айполовский. Со временем положение во всех детских домах несколько улучшилось, но осиротевших детей в Нарымском округе становилось всё больше, мест для них не хватало, и в середине тридцатых годов всем комендатурам было разрешено тех ребятшек, у которых есть где-то на воле согласные взять их на иждивение родственники, отправлять к ним. Работавшая тогда в Средне-Васюганском детском доме воспитательницей моя давняя знакомая Любовь Самсоновна Овчарова, к сожалению недавно скончавшаяся, рассказывала мне, как дважды увозила детдомовских ребятшек к их дедушкам, бабушкам и другой родне в Красноярский край, на Алтай, в Томск, Хакасию... Рассказывала, как с каждым от данным ребенком уменьшалась стайка ребятшек, помнила всех их по именам... Всего, по словам Любови Самсоновны, из Средне-Васюганского детского дома было передано на иждивение родственникам 66 детей. Примерно столько и из Айполовского.

В числе причин большой убыли закрепощенных поселенцев Долгих упоминает побег. Действительно, в тридцатых годах бежало с мест ссылки много людей. Систематизированных данных о количестве побегов за все годы мне в архивных документах найти не удалось, но в упомянутом сборнике опубликованы данные Сиблага ОГПУ о побегех спецпереселенцев из Нарымского округа с июня 1931 по май 1932 года. За это время из спецпоселков сбежало 20257 человек. Хотя не исключено, что впоследствии часть их где-то обнаружили и возвратили по этапу в места ссылки.

Естественно, наиболее удачными для беглецов были побег из комендатур, которые находились ближе к транспортным магистралям и были более проходими – не затопившись надолго паводками, не изобиловали товями, многочисленными таежными речками, старицами, протоками и т. д. Территория Васюганской комендатуры была самой непроходимой, и сбежать отсюда было наиболее трудно. Все до единого тамошние поселки были расположены по берегам Васюгана, и путь отсюда на «Большую землю» с весны до осени был один – вниз по реке. Поселковым комендантам эту единственную дорогу контролировать было несложно. Зимой, когда Васюган застывал, от поселка до посел-

ка путники добирались по одинокой санной колее – бесконечному зимнику. В некоторых поселках имелись постоялые дворы, где можно было переночевать и дать отдых коню, если ты ехал в кошеве или на розвальнях. Но на всех постоялых дворах каждого проверяли – кто, откуда, с каким документом.

Там, где постоялых дворов не было, переночевать у кого-нибудь из жителей можно было лишь с разрешения представителя местной власти. И тем не менее некоторым беглецам побег удавался. Сбегали зимой: минуя заставы, уходили пешком в Прииртышье по уже упоминавшемуся мной Васюганно-Абнинскому болоту, через которое в тридцатых годах стали ходить редкие обозы.

Не всё хранит людская память, но что-то врезается в нее навсегда. Чаще – страшное. И спустя много лет, когда заходила у меня речь с кем-нибудь из моих васюганских земляков о побеге, они непременно упоминали Власовскую заимку.

Огороженная глухим бревенчатым заплотом одинокая изба на пути к вольному Прииртышью. Хозяином ее был некий Власов, по рассказам его видевших – высокорослый угрюмый мужик, по причине своего косоглазия исподлобья глядевший на тебя и всегда словно еще на кого-то, стоящего за твоей спиной. Жил Власов на хозяйской половине избы, где обиталась его семья: жена, два сына, две снохи и дочь. Все такие же неразговорчивые, избегавшие чужих взглядов, повязанные кровосмешением и круговой порукой.

Передняя, проходная половина избы, предназначалась для ночлежников. Что в одну сторону, что в другую от заимки было далеко, а посему путникам, будь то пеший или конный, приходилось у Власова заночевать. Жена его либо которая-нибудь из снох топили для ночлежников баню, что в дороге было очень кстати. За ночлег хозяин брал рубль с человека, а с тех, кто ехал на лошади, – дополнительно за постой коня. Обозникам, которых всегда бывало сразу несколько, на заимке ничего не грозило. Для одиноких путников, среди которых хозяин сноровисто отличал беглых, заимка таила смертельную опасность. Пока беглец мылся и парился в жарко натопленной бане, Власов проверял, что находится в его котомке. Обшаривал и одежду – не зашит ли под подкладкой николаевский золотой пятирублевик либо еще что-нибудь ценное. Если ничего не находилось, смерть путника миновала; если Власов обнаруживал в котомке либо под подкладкой что-либо стоящее, вплоть до натального крестика, утром брал ружье и шел гостя провожать. Иногда вместо себя отправлял кого-нибудь из сы-

новой. Провожали гостя до свертка, по которому якобы дорога была безопаснее, и, когда путник удалялся на несколько шагов, стреляли ему в спину.

Потеряйся в пути вольный, родня спохватилась бы, начали бы искать. От беглых вестей не ждали: не вернули с дороги – значит ушел; а вестей не подает, потому как не хочет, чтобы кто-то еще знал, где он скрывается.

Что происходило на Власовской заимке – неведомо было несколько лет. Выдала Власова его дочь. То ли не вынесла страстей, то ли еще что, но как-то ночью, когда все спали, ушла с заимки. Отец утром ее спохватился; почуввав неладное, кинулся догонять, но всю ночь бурило, след замело. И ушла она не по дороге, а по рямам на лыжах. Ночевала в тайге, прошла без малого двести километров до Нового Васюгана и заявила обо всем в милицию. Власова и его сыновей арестовали и погнали этапом в Колпашевскую краевую тюрьму. Было это в тридцать седьмом. Вместе с уголовниками тогда гнали этапы в Колпашево и арестованных по 58-й статье. Судьба Власова и его сыновей неизвестна, а дочь его вышла замуж за шкипера паузка. Но, видимо, было у всех во власовской семье что-то общее: однажды, приревновав мужа, она зарубила его топором. Я ее видел в военных сороковых годах в Новом Васюгане – маленькая, скуластая, неказистая. А глаза черные, пронзительные. Сколько ее отец и братья загубили невинных душ – неизвестно. На статистику побегов это не повлияло: так и так те убитые значились в бегах.

Выше я упоминал – в мае 1931 года на предназначенные для поселения раскулаченных крестьян участки в среднем течении Васюгана было завезено 16248 человек. К 1 января 1938 года их осталось 5193. С большой долей вероятности могу сказать, что за истекшие годы оттуда бежало, передано на иждивение родственникам и освобождено «ошибочно высланных» не более трех тысяч взрослых и детей. Прибавим эти три тысячи к 5193 «едокам», оставшимся в Васюганской комендатуре к началу 1938 года, – и выяснится, что недостает 8055 душ. Столько выбыло по «прочим причинам». «Прочие» – это умершие от голода, болезней, лишений и расстрелянные на печально знаменитом Колпашевском яру. Страшная статистика: погиб каждый второй.

Отсутствие полных данных о динамике численности подневольного населения Нарымского округа в тридцатых годах прошлого столетия не дает возможности детального анализа причин его значительного сокращения. Но есть воз-



возможность сопоставить несколько обнародованных цифр. В 1930–1931 гг. на спецпоселение в Нарымский округ (тогда еще край) было завезено 284 тысячи раскулаченных крестьян<sup>29</sup>. В последующие годы подневольное население пополнилось более чем двадцатью тысячами человек к ранее сосланным в Нарым женам и детям Сиблаг отпирывал отбывших срок в местах заключения глав семей, сюда поступали выселенные из городов «социально опасные» и «социально вредные», в 1936–1937 гг. стало меньше умирать рождавшихся детей. И тем не менее за семь лет, прошедших после начала т. н. массовых операций, общая численность подневольных поселенцев, включая восстановленных в правах, но лишенных возможности покинуть место ссылки, здесь сократилась до 93,4 тысячи человек. Причины несколько, но главная – смертность. Полагаю, что и в целом по Нарымскому округу соотношение живых и мертвых было примерно таким же, как в отдельно взятой Васюганской комендатуре: каждый второй, сосланный сюда, погиб.

И вот еще о чем. Восемнадцать лет мне довелось жить и работать в трех васюганских поселках (не считая райцентра – Нового Васюгана), где поголовно все были спецпереселенцы из тех самых раскулаченных крестьян. Не было в этих поселках ни одного подростка, который родился бы в период с 1929 по 1937 год. Если и появлялись в это время на свет ребятишки, то вскоре умирали. Невозможно было выжить махонькому дитю в тех условиях... То же самое происходило в других поселках, население которых состояло также из спецпереселенцев. Уничтожая наиболее предприимчивых и трудолюбивых крестьян, «рабоче-крестьянская» власть изводила и их последующие поколения. Рубили под корень.

А тем спецам, кто уцелел, жизнь всё торила и торила бесконечную колесю по гарям, сограм, тасжным веретям. Жили уже не в землянках и берестяных балаганах, а в избах. Низкие, с маленькими окошками, без уличных ворот и заплютов, не подходили эти убогие пристанища на те крестовые и шестистенные дома – с сенями, горницами и светелками, – в каких жили в родных селах. Теперешнее жилье домами не называли, звали уже привычно – «барак». На воле – ставили себе дома надолго, чтобы жить в них и детям и внукам, здесь – жили одним днем, не лежала душа строить. Да и на артельной работе приходилось трудиться с утра до ночи.

Задуманная большевиками спецколонизация необжитых земель на территории Западной Сибири предполагала веде-

ние там сельского хозяйства, в частности земледелия. Хлеба в стране катастрофически не хватало. Поэтому спецпереселенцев в первую очередь заставляли корчевать лес, высвобождая землю под будущую пашню.

К 1935 году в Нарымском округе было раскорчевано почти восемьдесят тысяч гектаров, и окаймленные еще дымящимися в отвалах сутунками и вывороченными пнями поля были засеяны зерновыми культурами. Сеяли хлеб мужики по старинке – босиком широко шагая по пашне и раскидывая горстями семена из притороченных на лямках у груди тяжелых севалок; осенью созревшие хлеба косили лобогрейками и жали серпами, связывая в снопы, составляли их в суслоны, чтобы подсохли на стерне, после чего свозили обмолачивать на крытые соломой токи. Машин не было, рабочая сила – спеццы, тягло – лошади. Отвоеванная у тайги ценой тяжкого труда и тысяч жизней подзолстая земля была неплодородной, урожай – скудным; большую часть валового сбора сдавали государству, из оставшегося надо было засыпать семена, хоть как-то обеспечить овсом надсажавшихся лошадей... Людям хлеба доставалось совсем мало. Но страдавали в поте лица, иначе не могли, сызмалства были приучены трудиться. Потому и были прежде «кулаками», что, не покладая рук, работали. Не будь коллективизации и всего с ней связанного, трудились бы в родных селах, обеспечивая продовольствием страну. И не было бы в России голода, не было бы мора...

Лет десять назад, когда я знакомился в Центре документации новейшей истории Томской области с архивными материалами далеких тридцатых годов, попалась мне на глаза подшитая вместе с различными документами Нарымского окружка ВКП(б) за 1935 год, написанная кем-то от руки статья для окружной газеты «Советский Север», выпущенно озаглавленная «Непроходимая тайга превращена в цветущие социалистические поля». Ее автор всё же попытался отдать должное тем, кто ценою невозможных потерь отвоевал у тайги и возделал эти «социалистические поля», но текст статьи испещрен пометками кого-то из вышестоящих идеологов и отвергнут. Вот несколько выдержек из этой несостоявшейся статьи и гневные замечания начальства.

Текст: «Эти поселки, кооперированные в неуставные сельхозартели ударниками-энтузиастами социалистической стройки, – с прекрасно разработанными полями, вводящими социалистические севообороты...» Пометка: «Кулаки – энтузиасты, ударники социалистической стройки?!»

Текст: «Таких успехов в освоении Севера трудпоселенцами можно было добиться только решительным большевистским руководством нашей партии во главе с тов. Сталиным. Неуклонное желание нашей партии и советского государства после ликвидации кулачества помочь бывшим кулакам, переселенным на Север, ныне трудпоселенцам, освоить Север...» Пометка: «*Это из какой оперы?*»

Текст: «Советское правительство никогда не мстит своим бывшим врагам, если они становятся в ряды сознательных строителей социализма». Пометка: «*Кулак – сознательный строитель социализма?*»

Крестьянин, имевший прежде свое хозяйство, дававшее ему возможность безбедно жить, привезенный в нехоженую тайгу, где, выжив в нечеловеческих условиях, продолжал работать не разгибая спины, – для партийного начальства оставался «кулаком». «Враждебным элементом», которому надлежало корчевать лес, строить Беломорканал, копать котлованы для строек коммунизма...

В громаде планов первых пятилеток была включена и прокладка железной дороги Томск – Енисейск. Замысел изначально несбыточный, поскольку таежные увалы, по которым предполагалось ее провести, упирались в непроходимые болота. И тем не менее в течение двух лет бригады спецпереселенцев расчищали участки намечавшейся трассы, вырубали и корчевали лес, жгли на обочинах столканные в отвалы деревья, копали вдоль будущей насыпи канавы... На третий год краевое начальство велело работу, за ее ненужностью, прекратить. Но еще и в конце минувшего века, пролетая на самолете над той заболоченной тайгой, можно было увидеть внизу не окончательно затяннутые лесным подростом уходящие в никуда просеки.

А по бокам-то всё косточки русские...  
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты? –

всем нам знакомые строки из стихотворения Некрасова «Железная дорога», написанного в 1864 году. И невольно возникает аналогия с дорогами, что прокладывались и строились обреченными людьми уже в двадцатом столетии. Дороги и каналы, по сторонам которых – несметное количество косточек. Сколько их? И не только русских...

Невольно возникает вопрос: неужели подвергавшиеся небывалым гонениям крестьяне безропотно сносили то, что

вытворяла с ними именовавшая себя рабоче-крестьянской властью? Отнюдь нет. Во многих регионах России вспыхивали вооруженные восстания, но все они жестоко подавлялись карателями, а иногда и войсками.

В июле 1931 года произошло восстание и в Нарымском крае. «Экспропрированное и высланное на Север, в Чанинский район Западно-Сибирского края, кулачество, контрреволюционно и антисоветски настроенное, не мирясь с создавшимся положением, стремись противопоставить себя Советской власти, повело контрреволюционную работу, направленную на организацию вооруженного восстания», – говорится в хранившемся много лет вместе с двумя томами следственных документов под грифом «Сов. секретно» обвинении, предъявленном участникам того восстания<sup>30</sup>.

Организаторами его были спецпереселенцы Георгий Усков и Андрей Медведев. Примечательно, что среди повстанцев были крестьяне, восставшие во время Гражданской войны на стороне красных, многие служили в Красной Армии после Гражданской войны, причем некоторых раскулачили и сослали сразу после демобилизации. В числе участников восстания были даже бывшие коммунисты. Например, Павел Фирсов, отец четверых детей, который состоял в ВКП(б) с 1920 года и был исключен из партии в 1929 году «за связь с кулачеством».

Как написано в предъявленном мятежным крестьянам обвинении, «Усков вел беседы о тяжелой жизни спецпереселенцев, малом пайке и т. д., а 3 июля устроил полуполигальное собрание кулаков под предлогом обсуждения вопроса посылки делегации в Край с ходатайством о прибавке пайка спецпереселенцам. На этом собрании Усков говорил, что «нас, спецпереселенцев, в скором времени ожидает голодная смерть, так как на главной базе в Бакчаре для снабжения спецпереселенцев продовольствия осталось на несколько дней, а поэтому нужно послать делегатов в Край – просить прибавки пайка; если же Край нам откажет в ходатайстве, то нам нужно в защиту себя что-то предпринимать». Но поскольку после того собрания семьи спецпереселенцев по-прежнему оставались на грани голодной смерти (свидетельством тому – приведенные выше воспоминания бывшего коменданта Чанинской комендатуры Бочарникова), через несколько дней Усков созвал нелегальную сходку в тайге, на которой обсуждался всё тот же вопрос: что предпринять? В конечном счете было решено сформировать повстанческий отряд, разоружить Орловскую комендатуру и идти на райцентр – село Подгорное.



О том, что волнениями охвачено население десятка спецпоселков, стало известно властям, однако вместо того, чтобы предпринять меры для улучшения снабжения продовольствием, и в первую очередь хлебом, в Чаинский район были отправлены срочно сформированные отряды вооруженных коммунистов из соседних районов. Одновременно из Томска в Подгорное выехал кавалерийский отряд милиции с несколькими пулеметами. Узнав о готовящемся подавлении еще не начавшегося восстания, Усков распорядился опередить карателей и выступить на день ранее, чем было намечено. Решившиеся на мятеж не могли не понимать, на что они идут, но, видимо, люди были доведены до крайности.

Из материалов «Дела о восстании экспроприированного кулачества в Чаинском районе»:

«...29 июля около ста человек, часть вооруженных, под руководством Ускова двинулись на Орловку для ареста и разоружения комендатуры. Получили отпор, потеряв трех кулаков убитыми. Со стороны комендатуры убит один вахтер».

Хотя поводом для восстания была непроходящая угроза смерти от голода детей и жен тех, кто решился на этот отчаянный шаг, — если верить обвинительному заключению, восстание проходило под лозунгом: «Долой коммунизм, да здравствует вольная торговля, свободный труд и право на землю! Сов. власти быть не должно, а должно быть Учредительное собрание и выбор президента!» Был ли в действительности такой призыв, либо следователю надо было придать произошедшему политическую подоплеку — сегодня сказать невозможно, но очевидно: отношение спецпереселенцев к существовавшему строю соответствовало приведенным выше лозунгам.

30 июля отчаявшиеся на восстание мужики направились на подводах к Бакчару, где находится продовольственная база. Но, как значится в «Деле», «были встречены партотрядом и, потеряв трех человек убитыми, двинулись к Высокому Яру». В Бендоре заперли под замок восьмерых работников комендатуры, оставив возле них охрану, но в дальнейшем наткнулись еще на один вооруженный отряд и после короткой перестрелки были вынуждены уйти в расположенную неподалеку Крыловку. На следующий день, похоронив убитых и собравшись с силами, мятежные крестьяне всё же заняли Высокий Яр; разгромив там лавку и запасшись продовольствием, снова двинулись к Бакчару. Но дороги были уже перекрыты прибывшими из соседних районов партотрядами, и если посмотреть на карту тех мест, станет очевидно, что кольцо вокруг повстан-

цев сжималось и практически они были уже обречены. Потеряв в очередной стычке с карателями два десятка надевавшихся что-то изменить в этой жизни отверженных большевистской властью мужиков, повстанцы вернулись в ставшую их последним пристанищем Крыловку.

Ночью в район восстания подоспел сводный отряд карателей во главе с начальником Томского оперативного сектора ОКПУ Плаховым. Вызволив сидевших под замком в Бендоре восьмерых работников комендатуры, на рассвете этот отряд уже находился возле Крыловки. «Утром 1 августа в пос. Крыловка, в момент устроенного Усковым совещания штаба, по повстанцам был нанесен решительный удар», — говорится в «Деле о восстании». По рассказам очевидцев, мятежные мужики попытались переправиться через протекавшую возле Крыловки речку, но, прижатые к берегу, были расстреляны беглым огнем карателей. Погибло около пятидесяти человек, в том числе Усков. «По всему берегу убитые лежали, — много лет спустя рассказывала жительница Крыловки, бывшая в ту пору одиннадцатилетней девочкой. — Слово снопы на жнивье». Кровавая была та жатва.

«За всю операцию со стороны банды убито более ста человек, — сказано в обвинительном заключении. — Изъято около десяти винтовок, сто единиц разного охоторужья». 144 человека были арестованы. По этим цифрам видно, что больше половины повстанцев были вообще безоружны. Потери карателей: четыре человека убиты и один ранен.

А в Крыловке несколько августовских дней приезжавшие на подводах за убитыми мужиками их вдовы голосили над бездыханными телами тех, кто хотел добиться для них и своих детей лучшей доли. Что касается арестованных, то девять из них еще до суда умерли в Томской тюрьме, остальные были осуждены по 58-й статье к различным срокам заключения. Их дальнейшая судьба неизвестна.

Рассказывали мне и о другой форме сопротивления насилию властей — молчанием, за что тех упорно молчавших людей называли молчанами. Не знаю, появилась ли такая форма протеста еще где-либо в алтайских селах, где этих крестьян раскулачили и откуда привезли на Васюган, или подобного рода пассивное сопротивление возникло уже здесь. Как бы там ни было, в ряде поселков, расположенных в среднем течении Васюгана, некоторые страстотерпцы-крестьяне пытались противостоять властям, молча их игнорируя. На артельную работу не выходили, ни с кем не разговаривали, молчали и ис-

тово молились. Но борьба их с властью была недолгой, люди эти были заведомо тоже обречены... Однажды зимой в начале 30-х годов комендатурой было велено всех молчан отправить без малого за пятьсот километров, в Колпашево. Назначенные возчиками мужики из местных спецпереселенцев заходили к подлежащим отправке богомольцам в избы, вытаскивали их волоком или выносили на руках на улицу и отрешенных от всего, кое-как одетых мужиков и баб сажали и кляли в розвальни. Через распахнутые двери стался по полу в опустевшие избы морозный пар...

Велено было везти быстро. В пути лошадей и возчиков меняли и спешно гнали обоз дальше. Сопровождавшие этап конвойные ехали на своих упряжках. Один из возчиков рассказывал мне, что у одного из молчан по дороге слетела с головы шапка, но голоса тот не подал, так и везли его с заиндевевшими волосами...

Можно лишь полагать, что дальше Колпашева молчан не отправили и в 70-х годах полноводная Обь, обрушив берег, вымыла их останки вместе с останками сотен других людей, погибших насильственной смертью на приснопамятном Колпашевском яру.

...Раскрестьянивание русской деревни было мучительным и долгим. В начале коллективизации у объявленных кулаками крестьян отбирали имущество и «кулацкие» семьи отправляли строить социализм туда, куда ворон костей не заносил. А спустя пару лет тех «кулаков», которые, в свое время отдав всё, что имели, вступили в колхозы, власть стала «выявлять» и карать как «контрреволюционно-антиобщественный элемент». Класс был уничтожен, теперь карали за бывшую принадлежность к нему.

Из письма Запсибкрайкома ВКП(б) всем окружным, городским и районным комитетам ВКП(б) Западно-Сибирского края от 8 апреля 1933 года:

«Решениями партии и указаниями тов. Сталина в качестве главной задачи партии по работе в деревне поставлено укреплять колхозы организационно, вышибить оттуда вредительские элементы, подобрать настоящие, проверенные большевистские кадры для колхозов и сделать колхозы действительно большевистскими. В борьбе за проведение в жизнь этой задачи парторганизации края развернули и провели в настоящее время немалую положительную работу. Не одна сотня кулацких вредительских и прочих антиобщественных элементов разоблачена и вышиблена из колхозов

и получила суровую пролетарскую кару за свои преступные действия и проделки.

Дальнейшая работа по превращению колхозов в подлинно большевистские должна быть направлена, во-первых, по линии улучшения и подъема массово-политической работы в колхозах вокруг мероприятий на успехи посевной, укрепления животноводства, мобилизации средств и прочих хозяйственно-политических мероприятий и, во-вторых, путем проверок и укрепления деятельности судебно-карательных органов по изъятию из колхозов контрреволюционных, вредительских и антиобщественных элементов и принятию необходимых репрессий к ним за совершенные преступления.

Секретарь Запсибкрайкома ВКП(б) Эйхе\*<sup>31</sup>.

Если судить по победным реляциям ЦК ВКП(б) о строительстве социализма в СССР, «процесс добровольного объединения единоличных крестьянских хозяйств в колхозы к концу 1932 года был в основном завершен». Однако архивные документы свидетельствуют, что часть крестьян, несмотря на все гонения, пыталась держаться за свои хозяйства и не вступала в колхозы еще несколько лет.

В докладной записке от 22 июля 1936 года начальник окр. отдела НКВД Мартон и начальник оперативно-политического отдела УГБ Овечкин сообщают в Нарымский окружком ВКП(б):

«В 1935 году в Гарский сельсовет прибыл зам. председателя Чаинского РИКа Глухов, который, выступив на пленуме сельсовета, заявил: «Мы с вами, единоличниками, нянчиться не будем, с вас живых будем драть шкуру, угробим вас всех...» 14 июня 1936 года в Гарский сельсовет прибыл уполномоченный Бакчарского райфо Медведев, который, проводя в пос. Васега собрание единоличников, говорил: «Вы, единоличники, являетесь кулаками. Все вы бежали из широких мест и скрываетесь. Вы, долгобородые кержаки, не платите налогов и прячете свое имущество, боясь распродажи». Для мобилизации средств из Нарымского окрфо прибыл в Гарский сельсовет ревизор Артемьев, который, выступив на пленуме сельсовета, дал следующую установку: «Чтобы быстрее провести мобилизацию средств, нужно описывать и продавать хозяйство единоличников». В результате Артемьевым и уполномоченным Чаинского РИКа Литвиновым было распродано за пятidineвку 98 единоличных хозяйств. А всего за год по Гарскому сельсовету из 405 хозяйств распродано за неуплату налога 147. Причем



без утверждения описей часть продаваемого имущества приобреталась работниками, производившими торги. Так, уполномоченный Бакчарского райфо Медведев 14 июня 1936 года явился на квартиру к единоличнице Киргинцевой и без согласия сельсовета приступил к производству описи имущества за неуплату налога. У Киргинцевой было изъято три скатерти, одно полотенце, зеркало и две юбки. При изъятии Киргинцева выхватила их из рук присутствующего при описи избача Обвинцева, выскочила с ними в окно на улицу и побежала. Обвинцев догнал ее и юбки отнял.

В пос. Базаровка за единоличником Кучумовым числилась недоимка в сумме 70 руб. В счет покрытия недоимки прибывшими в поселок уполномоченными Усовым (иная фамилия не установлена) в отсутствие домохозяина забрали по описи имущества на 400 рублей, и это имущество было распродано. Часть имущества на торгах была куплена зам. пред. Гарского сельсовета Сухановым.

Вблизи дер. Борисовки работниками Гарского сельсовета был найден сундук с вещами, хозяином которого явилась единоличница Чарышникова, которая заявила, что она, боясь продажи имущества, спрятала его в лесу. Несмотря на это, сельсоветом имущество было распродано, причем покупателями явились пред. Интегралтоварищества член ВКП(б) Медведев, председатель колхоза "Борьба" Михалев, пред. сельсовета Суханов и пред. ревкомиссии Усов.

Антисоветский элемент, используя перегибы в отношении единоличников, встал на путь дискредитации проводимых в Гарском сельсовете сельхозкампаний. Так, например, в пос. Парфентьевка Гарского сельсовета единоличник Богомоллов К. весной 1936 г., выехав на пашню, запряг свою семью в плуг и на них пахал. Увидя шедшего секретаря сельсовета Кожевникова, заявил: "Вот до чего Советская власть довела крестьянство, что люди на себе пашут. А это потому, что вы у нас всех лошадей изъяли". В пос. Чага Гарского сельсовета избач Обвинцев, проходя по полям, увидел, что на двух участках полей пашут землю на людях. Причем в первом случае запрягалось в плуг 3 семьи, а во втором – 5 семей. На вопрос Обвинцева к этим людям: "Почему вы пашете не применяя лошадей?" – пахавшие ему ответили: "Пашем на себе потому, что нас довел до этого сельсовет, распродал наших лошадей". Допрошенный по этому делу единоличник Ведерников показал: "Почти в каждом поселке Гарского сельсовета единоличники запрягаются в плуг всей семьей и пашут. Я

сам лично сделал маленькую соху, и с женой вдвоем пашем, потому что мне сельсоветом план сева доведен 3 га, и если я его не выполню – меня осудят. А лошадь сельсовет продал за налоги"<sup>52</sup>.

Приведенные в этой докладной записке факты трактуются ее написавшими как «недостатки и извращения по укреплению колхозов». Но ведь эти «недостатки» местной власти были следствием той политики, которую проводило по отношению к т. н. единоличникам партийное руководство в Кремле. Приведу еще один документ тех лет. Прямого отношения к теме коллективизации он не имеет, но характеризует атмосферу тех лет. В данном случае это опубликованное 18 марта 1936 года окружной газетой «Советский Север» открытое письмо членов колхоза им. Эйхе (Парабельский район) секретарю Запсибкрайкома ВКП(б) Р. И. Эйхе:

«Дорогой товарищ Эйхе! С чувством глубокого счастья и радости мы, колхоз, несущий твое имя, приняли переходящее Красное знамя краевого штаба большевистского Зап.-Сиб. краевого комитета ВКП(б) и боевого органа нашей краевой партийной организации "Советская Сибирь", переданного нам как передовому колхозу Севера. Эта великая награда нас всех взволновала...

Вкладывая свои скромные труды в общее дело, мы, вместе с тем, с величайшим восторгом и любовью к нашей великой социалистической Родине видим, как под руководством нашего любимого вождя и учителя товарища Сталина, под руководством партийной организации нашего края и тебя лично, товарищ Эйхе, лучшего орденоносного руководителя сибирских большевиков, изменяется лицо некогда отсталой царской Сибири в край цветущий, край социалистический... Твою работу, товарищ Эйхе, и твое руководство, осуществляемое через окружную и районные парторганизации, мы здесь чувствуем особенно четко...

Очень хотелось бы показать тебе лично, товарищ Эйхе, как мы живем, и рассказать, как организовался и вырос наш колхоз... Сегодня мы имеем 36 хозяйств, 67 га посева. Имеем 40 лошадей, 20 голов крупного рогатого скота, 14 плугов, 7 веялок, 1 косилку и прочий с/х инвентарь.

Для еще более лучшего осуществления поставленных нами задач, дающих возможность выйти на высшую ступень культурной и зажиточной жизни, тебя, товарищ Эйхе, просим удовлетворить нашу просьбу – прислать нашему колхозу партийного организатора краевого комитета партии.

Да здравствует великая партия Ленина – Сталина и мудрый вождь народов, родной, любимый товарищ Сталин! Да здравствуют непосредственные руководители борьбы за социалистическое преобразование Севера – лучшие большевики края гг. Эйхе и Грядинский и боевой авангард Нарымского Севера – окружная партийная организация!

Письмо привято... в присутствии 82 человек и подписано президиумом собрания и лучшими колхозниками в числе 32 человек»<sup>33</sup>.

Сочинено письмо, естественно, не колхозниками, а работником райкома либо сотрудником окружной газеты, озабоченным, как бы складней написать, упомянув при этом всех вождей и организаторов, начиная с «родного, любимого» и кончая окружкомом ВКП(б). Присущее тому времени словословие... Но, читая это письмо, подумал вот о чем. 36 хозяйств, 40 лошадей, 67 гектаров посевов – меньше чем по два гектара на хозяйство. И переходящее Красное знамя за ударный труд. Невольно вспомнились приведенные выше слова единоличника: «Сделал маленькую соху, и с женой вдвоем пашем, потому что мне сельсоветом план сева доведен 3 га, и если я его не выполню – меня осудят. А лошадь сельсовет продал за налог...»

Но обращусь к Красноярке, с которой я начал это повествование, снова вернусь памятью к поселку на излучке вошедшей в мою судьбу таежной реки. Приехал я в Красноярку весной сорок пятого. К тому времени, будучи спецпереселенцем, уже почти четыре года прожил на Васюгане, куда меня вместе с мамой и сестренкой привезли пятнадцатилетним мальчишкой. До этого наша семья жила в Эстонии, где мой воевавший в белой армии отец оказался после Гражданской войны. Жили, как все тогдашние русские эмигранты, бедно, но то время – самая светлая пора моей жизни. Оборвалась она в июне 1941-го. За неделю до начала Великой Отечественной войны в прибалтийских республиках, ставших за год перед этим советскими, энкаведэшники провели опробованную ими в Советской России массовую операцию: десятки тысяч «социально опасных» мужчин, в том числе и русские эмигранты, были арестованы и отправлены в концлагеря на Северный Урал, а их «социально опасных» жен и детей в таких же гулаговских вагонах повезли в Сибирь. В числе тех разлученных семей была и наша.

Отец мой умер в Севураллаге в ноябре сорок первого, мама и шестилетняя сестренка Светлана скончались на Васюгане от голода в октябре сорок второго. Обе в один день... После их смерти я ушел из поселка Волково, где мы прожили

больше года, в тогдашний районный центр Новый Васюган. Думал – буду там учиться в школе... Приютила меня сердобольная старушка, у которой и без того в маленькой избенке жили трое квартирантов. Надвигалась зима. Я был раздет, разут, до крайности истощен – в хлебном пайке мне отказали, потому как из поселка, куда комендатура определила меня с мамой и сестренкой на жительство, я ушел самовольно. Спасла меня от голодной смерти эвакуированная из Ленинграда учительница – уговорила директора спешно построенного во время войны рыбозавода взять меня в заводскую бухгалтерию учеником счетовода. Наверное, поручилась за меня, ведь привезенным с запада ссыльным тогда позволялось трудиться лишь на физических работах.

Впрочем, физическим трудом тогда приходилось заниматься и работникам бухгалтерии: заготавливать дрова, разгружать приходившие с низовья баржи с грузом для рыбозавода, шкурить и пазить бревна на стройке... Но смерть от меня отступила. А в апреле сорок пятого меня и еще десятка три таких же, как я, спецпереселенцев из нового контингента мобилизовали в трудовую армию. Однако Васюган еще был под ледовым покровом – надо было ждать, когда вскроются реки, придет с Оби пароход и увезет нас куда-то на стройки либо рудники. Но в мае кончилась война, мобилизацию отменили, а меня, к тому времени поработавшему более двух лет счетоводом на рыбозаводе, отправили в дотопе неизвестную мне Красноярку на место умершего той весной колхозного счетовода. Там, в притудившемся на берегу Васюгана поселке, я прожил без малого шесть лет, сполна познал крестьянский труд, крестьянский уклад жизни и крестьянскую душу. Там, в Красноярке, женился на дочери раскулаченных родителей, и дочери мой по отцу из сословия дворянского, а по матери – крестьянского.

Не думал я тогда, живя в Красноярке, что когда-нибудь доведется мне писать о том, что происходило на Васюгане в тридцатых годах. Не ведал, что буду пересказывать слышанное от своих васюганских земляков. Казалось, то, что было с ними, а потом и со мной, порастет травой забвения: уйдут из жизни два-три поколения, и никто не будет знать, как везли в трюмах барж измученных людей, как потом умирали они на берегах таежных сибирских рек от голода, от лишения, болезней... Когда слушал то, что рассказывали о происходившем в тридцатых годах, невольно думал о том, что было со мной и такими, как я, в сороковых; думал о своей непроходящей боли. Быть может, поэтому, а может быть, за давностью лет не



всё, что рассказывали тогда, в моей памяти сохранилось, но что-то осталось навсегда.

Никогда не забуду рассказанного мне Виктором Степановичем Хохловым, к сожалению ныне уже покойным.

Когда в далеком тридцать первом году везли его с матерью, сестренкой и двухмесячным братиком на спецпоселение, было ему шесть лет. Помнил он глубокий трюм баржи, где, подстелив тряпье, сидели в тесноте сотни людей; помнил открытый люк, через который снизу виднелся кусочек неба с редкими белыми облачками; помнил, как – когда конвоиры выпускали людей на палубу – кто-нибудь из взрослых, подойдя к борту, бросал в реку ведро с привязанной к дужке веревкой – почерпнуть воды. Пустое ведро прыгало по расходящимся от баржи волнам, потом, зачерпнувшись, начинало тонуть – его вытаскивали наверх, и стоявшие рядом по очереди пили через край ведра речную воду.

Чем дальше плыли на север, тем шире становилась весенняя Обь. Берега были пустынные, а когда изредка впереди показывалось селение, конвоиры стогнали людей с палубы вниз. В душном, пропитанном тяжелыми испарениями трюме плакали грудные дети, и двухмесячный братик Хохлова тоже то и дело принимался жалобно всхлипать на руках у матери. С каждым сутками плач его становился тише, безнадежней, и на одиннадцатый день пути мальчонка навсегда затих. Но еще долго мать продолжала прижимать к себе его остывшее тельце... Хохлов помнил, как она просила шкипера подать сигнал на тянувший баржу пароход, чтобы причалили к берегу похоронить дитя, но, расстилая выбулзавший из закопченной трубы дым, пароход безостановочно шел дальше вниз по Оби. Отчаявшись, мать положила завернутого в тряпицу младенца в берестяное лукошко, и, когда конвоиры в очередной раз разрешили людям выбраться из трюма на палубу, она, подойдя к борту, протянула с него свою ношу над обской водой и выпустила ее из рук. Упав на воду, легонькая посудинка не зачерпнулась, а, покачиваясь на волнах, поплыла за кормой баржи. Хохлов помнил, как голосила мать; как, вместе с цепившейся за материнский подол сестренкой, они смотрели на берестяную куженьку, которая, удаляясь, все плыла и плыла за баржой, словно тот, кто там лежал, не хотел оставаться один на пустой реке. И еще долго-долго виделось вдаль на обском плесе светлеешее там махонькое белое.

Виктор Степанович прошел дорогами войны, схоронил немало друзей и близких. Но всё пережитое не стерло из

его памяти плившего вслед за баржой в куженьке мертвого братика.

Смерть одного маленького человечка, «кулацкого отродья»... Сколько всего детей и взрослых умерли в трюмах барж, навсегда увозивших их из родных сел, – нигде не значит-ся. Коменданты включали в списки своих поднадзорных лишь тех, кого им доставили. Остальные – «убыль в пути». По рассказам очевидцев, больше всего умирало по дороге в предназначенные им для проживания места крестьян с Прииртышья. Путь их в Васюганье был самым долгим. За непроходимое болото, откуда в 1930 году несколько тысяч их сумело сбежать, теперь их вместе с «новичками» больше месяца везли кружным путем. По Иртышу, Оби, по бесчисленным плесам и мучам Васюгана... Три тысячи километров в переполненных людьми душных трюмах барж, которые тяжело тянули малосильные колесные пароходики. На многих баржах возникали повальные болезни и мор. Умерших выносили на палубу – из-за одного-двух мертвечков буксирный пароход не останавливался. Причаливали к берегу, когда набиралось до десятка покойников. Теса для гробов припасено не было, – для них мужики сдирали доски с погруженных на баржи телег. Малых детишек клали в домовины по двое-трое...

В мае 1931 года на прилуку Васюгана, названную в недрах ОПТУ Седьмым участком, переименованным затем в Красноярку, было высажено с двух барж полтысячи крестьянских семей. Более тысячи восьмисот взрослых и детей из Большерецкого и Колосовского районов Омской области.

По инструкции «О поселениях кулацких хозяйств»<sup>34</sup> в спецпоселках не должно было насчитываться более ста дворов, однако подневольных поселенцев на все участки привезли намного больше. Места для поселений в верховьях Васюгана еще не были разведаны, а «массовую операцию» надлежало завершить в обещанные Москве сжатые сроки. Измученный за долгую дорогу народ стогнали из трюмов барж на утрюмые берега таежных рек гуртом. Расселять стали следующей весной. Как выжили, в каких условиях ютились на необжитых крутоярах тысячи скученных людей – трудно представить.

Когда четырнадцать лет спустя меня отправили из Нового Васюгана на поселение в Красноярку, там насчитывалось всего 87 человек. Сколько отсюда было переселено в верховья Васюгана, сколько умерло – никто точно сказать не мог. Охотнее здешние мужики и бабы рассказывали про свою жизнь до раскулачивания, вспоминали родные деревни, а о том, сколько

здесь в первые годы погибло ссыльного люду, говорили неопределенно: «Много... Поди, половина. Може, и более...»

Погост за околицей по соседству с гумном большим не был. Рассказывали, что первым летом хоронили в одиночные могилы, а зимой ставили гробы в загодя выкопанные братские. Заведомо знали: покойников будет много, копать и долбить мерзлую землю непосильно... Потому и не разрослось кладбище, что хоронили тесно.

Однажды летом 1945-го я взобрался на чердак гулко от пустоты колхозного склада, где в углу под нагретым солнцем скатом тесовой крыши были свалены грудой старые амбарные книги. В некоторых оставались неиспользованные страницы, а мне нужна была писчая бумага. Многого в то время не доставало, в том числе бумаги. Среди тех сваленных в кучу запыленных книг мне тогда попала на глаза толстая тетрадь в темном клеенчатом переплете. Я поднял ее – в тетрадь были убористо вписаны чьи-то фамилии, отчества, имена, года рождения... Понял – это те, кого весной 1931-го привезли сюда по злой воле тех, кто, верша революцию, сулил: «Землю – крестьянам!» Громко наперсбой чирикали под стропилами потревоженные воробы, от разношерстных страниц чуть пахло тленом, а я читал и читал те бесчисленные фамилии, имена, отчества... Каллиграфический почерк, какому учили в церковно-приходских школах, порывевшие от времени чернила... Столбцы имен – словно поминальный список. Некоторые из этих людей, и четырнадцать лет спустя, жили здесь, в Красноярке, но большинство имен было мне незнакомо. Кто-то смог уехать, кто-то был зарыт за здешней околицей, обретя три метра тяжелой нарымской земли... Мужики, их жены, детишки...

В конце тетради оставалось несколько незаполненных страниц, но не подвинулась рука их вырвать. Я не сберег эту тетрадь, а, перелистав, кинул обратно в кучу расчерченных на графы «приход/расход» амбарных книг. Тогда казалось: всему бывшему здесь суждено навсегда уйти в небытие и никому не доведется о нем поведать: все исчезнет бесследно, как навсегда растаял над рекой дым колесных пароходов, ткнувших на север переполненные людьми баржи, как сровнялись с речной гладью разбегавшиеся за их кормой затухающие волны... Жестокое время, не дававшее надежды на сбережение памяти.

Бумага мне требовалась не только чтобы писать что-то необходимое для работы – она была нужна и чтобы писать письма. В Эстонии у меня остались тетя и двоюродная сестра, еще

одна двоюродная сестра жила в Полтаве (я ее никогда не видел, но она каким-то образом нашла меня в конце войны). Еще одна моя тетя, палина сестра, жила во Франции (адреса ее у меня не было, да и вряд ли бы письма до нее доходили). Однако писать приходилось не только от себя и своим родным. Писал и по просьбе тех, кто не знал грамоты. Мужики в Красноярке могли мало-мальски читать и писать, грамотных женщин почти не было. Придет такая бабенка в колхозную контору, сидит на лавку возле канцелярского стола и, дождавшись, когда я достану с полки стоящего за моей спиной шкафа лист бумаги и обмакну перо в чернильницу, привычно станет перечислять свою родню, с приветом которой надо начать письмо: «Пиши: Дарье и Ефросинье, зятям Прокопию и Ливандру, племянникам Василию, Даниле, Петру, племянницам Антониде, Степаниде и Глафире, куме Аграфене...» Упомянув всех, тихонечко вздохнет и скажет: «Дале пиши как знаешь... Жизнь наша известно какая... Худого не пиши». Сколько же написал я подобных писем по просьбе своих деревенских, сколько перечитал им вслух полученных писем из Большеречья, Колосовки, Евганицна, Красного Яра и других прииртышских сел...

Вот упомянул здесь о письмах, и вспомнилось рассказанное мне моим васюганским земляком Иваном Майбородой. Тоже о них, о письмах.

Грамоты он почти не знал, но мужик был башковитый, хозяйственный, а потому, когда впоследствии организовали в тамошнем спецпоселке сельхозартель, без малого десять лет в ней председательствовал. Но случай, о котором он рассказал, произошел раньше, в первое лето ссылки. У многих вскоре после того, как завезли их в те края, начали кровоточить десны, опухали ноги... В меру сил спасались черемшой, которую, уже переросшую, но еще можно было найти в тайге. Занемогший Иван в тот вечер тоже подался за черемшой по одной из протогнанных таежных тропинок в сторону соседнего Девятого участка. Километра через два тропинка вывела его к таежному озерку. На отражавшей закатное небо и надвинувшийся к озерку пихтач водяной глади что-то белело. Иван подошел ближе и – обомлел: возле примятых моховых кочек по воде расплылись выброшенные в озеро письма...

В тот день на участок наведывались двое каких-то начальников, в перехлестнутых портупелях гимнастерках. Поговорили со старшим поселка, поинтересовались, не сбежал ли кто, сказали: если кому надо отправить письма, пусть принесут – мол, завтра участковый комендант поедет на обласке в



Васюганское<sup>55</sup> и передаст на почту. В немногих семьях имелась припасенная из дому бумага на письма, но всё же набралось их, наверное, с полсотни. Начальники столкали их в висевшие у каждого из них на боку планшетки и ушли по тайге на соседний участок.

Теперь эти письма размокали в неподвижной озерной воде. Полузатонувшие треугольнички с выведенными карандашом адресами, — чьи-то просьбы, наказы, чьи-то поклоны... Для многих последние весточки родне...

Тогда Иван побоялся рассказать кому-нибудь об увиденном. После говорил мне, что через много лет хотел найти то озерко, но не нашел. То ли высохло, то ли не натолкался на то место.

Существовало ли тогда указание препятствовать переписке спецпереселенцев, или те двое выкинули письма по собственной прихоти? Через два года в двадцати километрах от Красноярки, в Ново-Тевризе, построили дом для почты, рядом — бревенчатое здание для сельсовета, но еще долго вся власть была в руках комендантов и наезжавших в спецпоселки уполномоченных.

В судьбе каждого из тех, кто жил в просуществовавшей двадцать лет Красноярке и в сотнях других таких же нарымских спецпоселков, преломилось происходившее с российским крестьянством в тридцатых и сороковых годах минувшего двадцатого века. История тех исчезнувших поселков канула в Лету, как кануло в Лету происходившее с каждым из тех, кто там жил, но всё это часть истории страны, того времени, с его сталинскими пятилетками, индустриализацией, коллективизацией, подготовкой к войне и самой войной, победа в которой оплачена миллионами жизней. В том числе и жизнями тех, у кого было отнято не только всё обретенное их истовым трудом, но и само исконное русское слово «крестьяне» заменено советским «колхозники». Для многих — еще одним советским новоязом — «спецпереселенцы».

В понимании большевиков колхоз и «кулаки» были несовместимы. Поэтому формой организации труда привезенных на спецпоселение крестьян, практически нищих, но упорно именуемых кулаками, первоначально были не колхозы, а неуставные артели, руководителей которых, согласовав с т. н. компетентными органами, назначала местная власть. Наряду с заданием по корчевке леса, артелям доводили планы выгонки пихтового масла, дегтя и смолы, изготовления клепки, бочек, кровельной дранки. Всем неуставным артелям были даны названия. В Красноярке она называлась «Тасжная зоря».

В середине тридцатых годов подобного рода артели реорганизовали в сельхозартели, т. е. в колхозы, основными отраслями в которых должны были стать полеводство и животноводство. Разоренная социалистическим переустройством деревня не обеспечивала страну продовольствием, пополнять продовольственные ресурсы страны отныне предстояло и «бывшим кулакам». Преобразованным в колхозы неуставным артелям дали новые названия. Полагаю, что список их был прислан в Нарымский окружком ВКП(б) из Москвы (самодеятельность в таком деле едва ли допускалась). В первую очередь, не мудрствуя лукаво, новым колхозам присвоили имена Ленина, Сталина, Кагановича, Микояна, Ворошилова, Буденного... Исчерпав перечень вождей, который через пару лет несколько поубавился, «крестные отцы» перешли к писателям. Удостоились значиться в названиях колхозов Горький, Герцен и Пушкин. Некоторым коллективным хозяйствам дали выпренные наименования: «Мировой Октябрь», «VII Коминтерн», «Долой собственность!», «Путь второй пятилетки», «Путь социализма». Впрочем, если в последнем колхозники получали лишь по 200 граммов зерна на трудодень, то название соответствовало действительности.

Когда меня прислали в Красноярку, где мне предстояло работать колхозным счетоводом, бывшая «Тасжная зоря» лаконично именовалась «Зарей».

Председатель колхоза поначалу отнесся ко мне скептически — работавший до меня счетоводом Василий Иванович Тасканов был из местных спецпереселенцев, намного старше меня, а я — присланный юнец, к тому же из нового контингента... Поинтересовался, почему направили именно меня, наверное, учился на курсах счетоводов? Я ответил, что работал счетоводом на рыбзаводе.

— Коня запрячь можешь? — спросил он неожиданно.

— Зачем? — удивился я.

— В деревне перво-наперво коня запрячь. Завсе за этим столом сидеть не будешь... Ну ладно, — помолчал, сказал он примирительно, — разбирайся в делах. — И снова построжел: — Да смотри, язви те, у Василия Ивановича завсе порядок был. Затем, достав с полки конторского шкафа тоненькую тетрадку, протянул ее мне:

— Вот здесь беспременно отмечай. В этом тоже учет нужен.

В тетрадку записывали, какого числа на Васюгане пошел лед, когда река после половодья вошла в русло, когда осенью выпал зазимок и начался ледостав... Еще там отмечали, когда

начинали и заканчивали посевную, выезжали на покос, когда начинали и завершали осеннюю страду... И эта тоненькая потрепанная тетрадка, как и та другая – с именами тех, кого весной 1931 года согнали по дощатым трапам с барж на обрывистую прилуку Васюгана, – осталась где-то на перепутьях моих дорог. Не думал, что всё это будет кому-то нужно...

Записи в тетрадку кто-то начал заносить в 1932 году. Не помню, что там было написано о времени вскрытия реки, половодья, ледостава, но почему-то запомнил – в 1932 году на раскорчевках было посеяно 19 гектаров пшеницы и овса. Как-то был первый урожай, как его использовали – написано не было. Но думаю, что в Красноярске положение с пропитанием ссыльных было тогда таким же, как и в других нарымских спецпоселках.

Много лет спустя в одном из архивных дел, хранящихся в Центре документации новейшей истории Томской области, мне попалось на глаза информационное письмо секретаря Бакчарского райкома ВКП(б) Осипова в Нарымский окружком партии. Письмо датировано 16 сентября 1932 года, т. е. после уборки первого урожая. «Настроение спецпереселенцев в основном здоровое, но есть и отрицательное, – сообщал Осипов. – К хорошим настроениям можно отнести такие речи: “Нас выслали для освоения Севера, и мы должны показать свою преданность Советской власти... Надо бороться, а не хныкать”. Имеют место и прямо контрреволюционные речи: “Мы думали, что поедем хлеба вволю, а оказывается, нужно заготовить моху и гнилушек, т. к. пайка не хватает”; “Надо раздать хлеб на руки, иначе с голоду подохнем”; “Лодырь будет есть наш хлеб”; “Где мы будем чего брать, разутые, раздетые? Ботинки – 30 руб, пай<sup>36</sup> – 40 руб. Скажут – я лодырь, а я бос и голодный”; “Только появился хлеб – нас снова увидели, если бы мы были на своих старых местах, хлеб бы не был по 150 руб. пуд”; “Почему не делается, как говорил Ленин, что крестьянин хлеб должен есть вволю?” <-> Данную характеристику даю исключительно из писем наших ребят-уполномоченных»<sup>37</sup>.

Многострадальный крестьянин... Даже в ссылке он стыдился, что его могут упрекнуть в лениности: «Скажут – я лодырь, а я бос и голодный...» И когда исстрадавшийся мужик, напрасно надеявшийся, что наконец-то сможет накормить вволю хлебком свою семью, наивно спрашивает, почему же не делается так, как говорил Ленин, – это именуется «контрреволюционными речами». И в то же время окружной комитет ВКП(б) предпринимает меры для улучшения снабжения «своих ре-

бят». При окружкоме организована закрытая столовая для партактива, который имеет возможность там по дешевке питаться в стороне от посторонних глаз<sup>38</sup>. В Колпашеве и райцентрах созданы т. н. закрытые распреды, где номенклатурные работники могут приобретать то, чего нет в магазинах и лавках для рядовых покупателей. Снабжение номенклатуры поручено АКОРТу<sup>39</sup>. В официальных документах тех лет появляется новый термин – «прикрепленец» (прикрепленный к распреду). Однако не все прикрепленцы удовлетворены. Кривошеинский райком ВКП(б) сообщает в окружной комитет партии, что Томский АКОРТ «преступно относится к обеспечению районного партийного актива продовольственными и промышленными товарами, в результате чего местному партактиву приходится продукты покупать на базаре». Бюро окружкома принимает решение о передаче распредов АКОРТа в систему Интегралкооперации<sup>40</sup>. Для полноценного питания секретарям окружкома и райкомов ВКП(б), председателям районных исполнительных комитетов и секретарям райкомов ВЛКСМ ежемесячно из особого сектора Запсибкрайкома ВКП(б) высылаются т. н. питайки. Каждому свое: одни – прикрепленцы, другие – спецпереселенцы.

Часто теперь думаю: никакой другой народ не вынес бы того, что вытворяли тогда с русским крестьянством. И хотя каждый второй спецпереселенец отдал там Богу душу, половина их выжила. Преодолела то, что, казалось, преодолеть невозможно, и к концу тридцатых годов жизнь в нарымских спецпоселках стала мало-мальски налаживаться. В Красноярске построили конный двор, коровник, телятники, молокозавод. Срубили из соснового бревен склады, школу, лавку сельпо, колхозную контору. Построили клуб. Высокий, под тесовой крышей, с большими окнами, со сценой. Даже галерку намеревались внутри сделать, но помешала война. Зерновыми колхоз засеивал свыше ста гектаров, и, хотя большую часть скудного урожая сдавали в госпоставку, что-то оставалось и на трудодни. Задания по кустарным промыслам колхозам уже не доводились, но пихтовые заводишки продолжали существовать. За сельскохозяйственную продукцию денег колхоз практически не получал, за пихтовое масло – платили.

Поскольку поблизости от Красноярска исходного сырья для выгонки пихтового масла уже не было, заводишки ставили в десяти-пятнадцати километрах от поселка на берегу Васюгана либо возле таежных речушек. Выпаривали масло из хвои посредством пара, и всё оборудование для этого состояло из вко-



паных в землю больших чанов, глинобитной печи и нехитрого, напоминавшего самогонный аппарат приспособления. Рядом ставили барак, где временно жили пятнадцати-восемнадцатилетние девчонки, которые обламывали с веток пихтовую лапку и носили ее вязанками к заводчику. Бригадир взвешивал вязанки на самодельном кантаре и вечером, в зависимости от дневной выработки, начислял каждой девчонке трудовни. Валить деревья запрещалось, нужно было взбираться на пихты и топором срубать разлапистые ветки, оставляя нетронутой вершину. И когда уже исчезли тамошние поселения, кое-где вдоль темных речных плесов еще долго стояли оголенные пихты с остроконечными, словно нахлобученные колпаки, макушками.

Свояченица моя, Евдокия Дмитриевна, на старости лет порой вспоминала, как работала на тех заводиках, которые наши деревенские кратко называли просто «пихтовые». Вспоминала как часть своей тогдашней жизни:

– Девчонки одна перед одной соперничали, кто больше пихты принесет. Бывало, которая росточком махонька, а вязанку тянет больше, чем сама. Через валежины, по бурелому... Летом – гнус, зимой – снег по опяску. Сколь дён положено отработаем – бригадир в поселок отпускает. Охота домой – бывало, в ночь пойдем, бересто на палках ждем, идем по тайге ватагой... Дома выспимся, отдохнем, в бане намоемся – вечером в клуб. Половинцы там широкие, лампа керосиновая, «Молния» называлась, светит ярко; пляшем под гармошку, только стукоток стонит. Вроде всё ранешнее стало забываться. Молоды были, весело...

«Ранешнее стало забываться...» Это она о том ранешнем, которое было в Красноярке, до того как построили тот клуб; «ранешнее» – когда жили в землянках, берестяных балаганах и копали впрок братские могилы. Молодости свойственно не мучиться тяжелым прошлым, когда становится легче жить. Это не в упрек ей, моей ныне уже покойной свояченице. И у меня, когда я еще был спецпереселенцем, но возник в жизни просвет, – а это было в Красноярке, – всё страшное, что тогда еще не столь давно было со мной, отодвинулось куда-то в сознании. Когда молод, живешь окружающим тебя. Это потом, на исходе жизни, чаще и чаще всплывает в памяти то невыносимо тяжелое прошлое – разлуки, смерти, и некуда деваться от той неизбежной боли.

Хотя я взялся рассказывать о Красноярке, подчас память возвращает меня к далекому времени, когда я еще жил там, где

была совсем иная жизнь, и не знал, что существует неведомый мне Васюган и такой поселок – Красноярка. И 1937 год мне помнится тем, что далеко-далеко от этих мест я изображал на сцене Народного дома витязя из сказки про царя Салтана. На голове у меня был посеребрённый картонный шлем, в руке – окрашенный такой же серебристой краской деревянный меч. И шлем и меч мне сделал отец. На сбереженной мной уже выцветавшей от времени фотографии – участники того поставленного русскими эмигрантами благотворительного спектакля в столетнюю годовщину со дня смерти Пушкина. В отгороженной от Эстонии колочей пограничной проволокой Советской России тоже тогда отмечали этот юбилей. Однако у миллионов советских людей тот год оставил по себе иную память.

Происходившее тогда в СССР не миновало и Нарымского округа. Казалось бы, за что и как еще можно карать тех, кого власть, уже лишив всего, закрепила в тасжных дебрях? Но «вредителей» и «врагов народа» искали и там. Упомянутый мной Иван Иванович Майборода, который в 1937 году был председателем колхоза в соседней с Краснояркой Муромке, через много лет рассказывал мне, что в том году в Муромку приезжал энкаведэшник и требовал назвать ему тех, кто вредит колхозу или ведет антисоветские разговоры. Когда Майборода ответил, что таких в поселке нет, энкаведэшник пригрозил: «Будешь отвечать за укрывательство!» «Однако я, парень, никого из своих мужиков не сдал», – с гордостью впоследствии говорил мне Иван Иванович.

А в Красноярке тогдашний председатель двоих сдал: Василия Дудикова и Ивана Жукова. Обоих в 1937 году расстреляли. Дудикова за то, что был богомольным и призывал других тоже верить, а Жукова – неизвестно за что: мужик смиренный, покорный. Семья его в Красноярке была самой многодетной – четверо детей. Было у него ребятишек еще больше, но малолетние умерли в первый же год ссылки, выжили старшие, и в том году, когда их отца забрали, две девки уже были замужем. А у Дудикова детей не было. Анна Андреевна, жена его, работала в колхозе дояркой, была тоже богомольной – и тех доярок, которые во время дойки порой ругали кого-то, укоряла: «Корову, девки, доить Бог велит не с руганью, а с молитвой». Когда спецпереселенцам разрешили голосовать на выборах, бюллетень в руки не брала, просила кого-нибудь: «Ты уж проголосуй за меня...»

Первые выборы в Верховный Совет СССР состоялись в том же приснопамятном, 1937 году, когда была провозглашена ста-

линская конституция. Назначены были выборы на 12 декабря. Оборудовать избирательные участки в спецпоселках властью было запрещено, голосовать красноярским мужикам и бабам надлежало в остяцком поселке юрта Калганак<sup>41</sup>, находившемся в тридцати пяти километрах от Красноярска. Явиться туда следовало к началу голосования – к шести утра, а потому приехавший в Красноярку за неделю до выборов уполномоченный велел всем отправляться туда в ночь. Запрягли колхозных лошадей, однако весь народ на санях не уместился – кто-то ехал, кто-то позади подбегал за санями. Через какое-то время ехавшие освобождали место пешим, за дорогу сменялись много раз. Рассказывали, что мороз в ту ночь был лютый, на вышедшем небе полыхало северное сияние, многие пообморозились – одежка на людях была худая. На избирательном участке покидали в урну бюллетени и тем же путем обратно домой. В декабре дни короткие – вернулись ночью. И еще много лет спустя вспоминали то волнзъявление народа.

Сталинская конституция ничего в быте спецпереселенцев не изменила. Можно было проголосовать, но уехать с предназначенного места жительства по-прежнему было нельзя.

В предвоенные годы чаще стали навещаться в Красноярку уполномоченные из райцентра, поучали председателя колхоза, как и когда пахать, сеять, убирать урожай. На колхозных собраниях в прокуренной самосадам конторе, выступая под висевшим в простенке портретом Сталина, разъясняли сидевшим на вышарканных лавках мужикам и бабам международное положение: империалисты и милитаристы хотят нарушить счастливую жизнь советских людей – вы должны ударным трудом крепить мощь нашей социалистической родины, досрочно выполнять и перевыполнять все доведенные вашему колхозу планы и задания; колхозникам, не вырабатывающим установленный минимум трудодней, надо урезать огорды; скрытых вредителей колхозного строя разоблачать и отдавать под суд.

Задания по поставкам государству сельскохозяйственной продукции в преддверии войны увеличились, жили в основном на спасавшей от голода картошке. Но неумолимо надвигались новые тяжкие испытания, вскоре выпавшие на долю уже миллионов людей.



«Ликвидировать кулачество как класс!»



Предположительно семья Понамаревых из села Большеерече Омской области. Снимок середины 20-х годов. Впереди – раскулачивание, ссылка, страдания и разлука навечно... А пока мирная крестьянская жизнь.

Из фондов Мемориального музея истории политических репрессий (Томск)





Свидетельство о смерти № 11 4

Выдано в том, что Земляничных  
Васил Васильевич  
 умер(ла) в 1933 году 10 числа Алтая области.

в чем в книге записей актов гражданского состояния О СМЕРТИ  
 1933 года 7 числа Алтая области произведена соответствующая запись.

Место рождения г. Восточный Восточная окр.  
 Место смерти Восточный окр.

Подпись В. В. М.

Из фондов Мемориального музея истории политических репрессий (Томск)



Предположительно чета Нефедовых из села Красный Яр Омской области. Снимок 1929 года. Через два года они будут раскулачены, изгнаны из дома и отправлены обживать берега таежного Васюгана.

Из фондов Мемориального музея истории политических репрессий (Томск)



Крестьянские ребята из села Евгашино Омской области. В 1931 году им суждено стать «кулацким отродьем» и быть отправленными с родителями в Нарымский округ. Судьба их неизвестна.

Из фондов Мемориального музея истории политических репрессий (Томск)

№ 12  
12/3142

Секретно

ДЛЯ ПОСЕЛКОВЫХ КОМАНДАНТОВ  
Команданту СибЛАГ'а ОГПУ

Содержать, что Семенов Василий Семенович 1904 г. р.

1. Фамилия, имя и отчество Семенов Василий Семенович

2. В чей семье проживает в семье Семеновых

3. Предыдущая работа и образование в семье Семеновых

Примечание:  
Василий Семенов Семенович брат де-факто

Целую крестную матери и отцовскую и материнскую

Командант Семенов  
Завед. устной Семенов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1934 года, августа 16-го дня, гор. Бар. в р. б. и. н.

Делу № по городу Барабинского РУМ ТКАЧЕВ, село после расследования следственного материала по обвинению гр-ки ГРЕБЕННИКОВОЙ Фектисты Устиновны

Н А Ш Е Л:

что ГРЕБЕННИКОВА Фектиста Устиновна, заключенная Члены 1-ой командатурой спецпоселения Сибирских Исправительных Лагеров ОГПУ. Последняя из-под стражи обжаловала, на что имеется разрыв. ГРЕБЕННИКОВА в течение время намерена в ходе Губернского областного и доставлена в РУМ.

в постановку, на основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 128-144-158 УИК

П О С Т А Н О В И Л:

ГРЕБЕННИКОВУ заключить под стражу и этапировать по месту ее побега в Чаинскую командатуру ОГПУ.

ДЕШЕРНЕР ПО ГОРОДУ Ткачев /ТКАЧЕВ/  
СОГЛАСЕН: НАЧАЛЬНИК РУМ Семенов /СЕМЕНОВ/  
УПР. РИЛД: ПРОКУРОР Губельтов /ГУБЕЛТОВ/

Из фондов Мемориального музея истории политических репрессий (Томск)

IV



Крестьяне из села Большеречье Омской области, призванные на военную службу в 1915 году. На переднем плане – мой будущий тесть Дмитрий Семенович Беспрозваннов. В 1930 году раскулачен и сослан с семьей «за болото» – на Васюган. Крайний справа – Василий Баженов, был также раскулачен и отправлен на спецпоселение. Судьба остальных двух неизвестна.



Анна Васильевна Беспрозваннова, жена Дмитрия Семеновича Беспрозваннова, с дочерью Клавдией. Снимок сделан в 1916 году.

Из семейного архива Беспрозванновых

V



АНКЕТА

1. ФИО (полностью)	Иванов Иван Иванович
2. Дата рождения	1915 г.
3. Место рождения	Село Колосовка Омской области
4. Образование	Среднее
5. Место работы	Сельхозколхоз
6. Семейное положение	Женат
7. Дети	2 сына, 1 дочь
8. Политические взгляды	Коммунистические
9. Членство в партиях, организациях	Член ВКП(б)
10. Награды, ордены, медали	Орден Трудового Красного Знамени
11. Другие сведения	Служил в армии с 1935 по 1937 г.

Иванов Иван Иванович  
 1915 г. р. Село Колосовка Омской области  
 1935-1937 г.г. Служил в армии в 1-м стрелковом полку 1-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.  
 1937 г. Арестован по 58-й статье. Содержался в тюрьме НКВД. Расстрелян 12-го июля 1938 г. в г. Томске.  
 Место захоронения: г. Томск, кладбище № 1, участок 15.

Иванов Иван Иванович  
 1915 г. р. Село Колосовка Омской области  
 1935-1937 г.г. Служил в армии в 1-м стрелковом полку 1-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.  
 1937 г. Арестован по 58-й статье. Содержался в тюрьме НКВД. Расстрелян 12-го июля 1938 г. в г. Томске.  
 Место захоронения: г. Томск, кладбище № 1, участок 15.

Из фондов Мемориального музея истории политических репрессий (Томск)



Крестьянская семья предположительно из села Колосовка Омской области. В 1931 году, попав под маховик коллективизации, были раскулачены и отправлены на спецпоселение в Нарымский округ. Снимок 1915 г.

Из фондов Мемориального музея истории политических репрессий (Томск)



Петр Николаевич Гейман с женой. Село Яр Томского округа. В 1937 году был арестован по 58-й статье и расстрелян. Дед его содержал в Яру постоянный двор, на котором в 1890 году по пути на Сахалин останавливался А. П. Чехов. Вместе с этой фотографией потомками П. Н. Геймана передана в Мемориальный музей истории политических репрессий (Томск) чернильница, которой, по семейному преданию, пользовался Чехов, когда писал письмо своим родным.

„Прогресс“ Томск



Исторический документ  
 Входит в состав архива  
 Государственного архива  
 Республики Алтай  
 1952 г. 12.05  
 146.3503

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА  
 1952

Имя: [Handwritten name]  
 Фамилия: [Handwritten name]  
 Дата рождения: [Handwritten date]  
 Место рождения: [Handwritten location]



СЕРИЯ  
 10  
 ФИО: [Handwritten name]  
 Дата рождения: [Handwritten date]  
 Место рождения: [Handwritten location]

РАСПИСКА  
 8  
 Мне вручили [Handwritten name]  
 1883  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten name]

Установление Совета Народных Комиссаров СССР № 31 от 8 января 1945 г. „о порядке оказания государственной помощи“ обязывает Установленные органами власти национализация Производства для населения и абсорбция строго запрещается.

Подпись: [Handwritten signature]  
 [Handwritten name]

Из фондов Мемориального музея истории политических репрессий (Томск)

Из фондов Мемориального музея истории политических репрессий (Томск)



Созинская  
АРХИВ

Переходящий лист  
№ 122  
№ 123

Переходящий лист  
№ 122  
№ 123

Переходящий лист  
№ 122  
№ 123

Переходящий лист  
№ 122  
№ 123

Переходящий лист  
№ 122  
№ 123

Переходящий лист  
№ 122  
№ 123

Переходящий лист  
№ 122  
№ 123

Переходящий лист  
№ 122  
№ 123

1. Место рождения: Чкаловск 1914 г. в  
2. Место рождения: Чкаловск 1914 г. в  
3. Место рождения: Чкаловск 1914 г. в  
4. Место рождения: Чкаловск 1914 г. в  
5. Место рождения: Чкаловск 1914 г. в  
6. Место рождения: Чкаловск 1914 г. в  
7. Место рождения: Чкаловск 1914 г. в  
8. Место рождения: Чкаловск 1914 г. в  
9. Место рождения: Чкаловск 1914 г. в  
10. Место рождения: Чкаловск 1914 г. в

Вот так и пошли  
на фронт в 1941 г.  
в составе 1-го  
полка 1-й бригады  
1-го полка 1-й бригады  
1-го полка 1-й бригады  
1-го полка 1-й бригады  
1-го полка 1-й бригады  
1-го полка 1-й бригады  
1-го полка 1-й бригады  
1-го полка 1-й бригады

Ваша дочь  
Ваша дочь

Сиротка в 1919 г. 18438  
дочь убитого  
Роздеева Тамара Григорьевна  
р. 1911 года. Училась в школе  
15/8-41 в семье Тимофеева  
Марии Яковлевны  
Основана: дивизия за октябрь  
1941 г. Тоскаракай  
Вера Степановна

Поселковый поместитель



Арестованные участники восстания в Чаинском районе  
Нарымского округа в 1931 г.

Из фондов Мемориального музея истории политических репрессий (Томск)

Из фондов Мемориального музея истории политических репрессий (Томск)



Строительство первых жилищ на раскорчевке у берега Васюгана



Раскорчевка леса под строительство поселка в Парабельской комендатуре



Поселок №3, Н. Васюганской комендатуры

В начале тридцатых годов по указанию Сиблага ОГПУ в комендатурах Нарымского округа были сделаны фотографии, запечатлевшие проводившуюся тогда т. н. спецколониацию Нарымского округа. Качество снимков плохое, тем не менее по ним можно судить, в каких условиях тогда жили и работали те, кого завезли в этот гибельный, необжитый край.

*Фотографии хранятся в Томском областном краеведческом музее*

*Из фондов Томского областного краеведческого музея*







Один из детских домов в Нарымском округе  
 Фотографии из фондов Томского областного краеведческого музея



Детский сад в Средне-Васюганской комендатуре



Осиротевшие дети спецпереселенцев возле одного из детских домов  
 в Нарымском округе. На лошади – комендант.  
 Из фондов Томского областного краеведческого музея



Из фондов Мемориального музея истории политических репрессий (Томск)





Начало новой жизни...

Из фондов Томского областного краеведческого музея



Мария Владимировна Карамзина. Поэтесса русского зарубежья. После революции восемнадцатилетней девушкой эмигрировала из России в Чехословакию, после жила в Эстонии. Муж, Василий Александрович Карамзин, в 1940 году арестован и расстрелян, а Мария Владимировна 14 июня 1941 года с двумя малолетними сыновьями отправлена в ссылку на Васюган. Умерла в 1942 году. Похоронена в Новом Васюгане неподалеку от моей мамы и сестренки.

Из стихотворений Марии Карамзиной

\*\*\*

Неверен голос мой, и свечи  
напрасно строки золотят,  
и нету сил для тайной встречи  
войти в ночной могильный сад —  
упасть на ризы гробовые,  
рыдать в светлеющей тени,  
чтоб сотрястись на зов «Мария!» —  
ответным воплем: «Раввун!»

1938

Кивийли, Эстония

\*\*\*

С белого неба белые мухи —  
на чёрную влажную землю.  
Плетутся, к земле пригнувшись, старухи,  
молчат и как будто дремлют.  
Станцию, рельсы снегом заносит,  
красную стенку вагона...  
Никто никого ни о чём не спросит,  
никому не нужно поклона.  
Впереди — мутное поле,  
чёрные мотаются прутья.  
Сто шагов нам осталось, не боле,  
до последнего перелутья.

1939

Кивийли, Эстония

Памятник погибшим на Васюганье  
спецпереселенцам. Установлен  
в 1997 году в бывшем райцентре  
Васюганского (ныне Каргасокского)  
района — Новом Васюгане.









Высланный из Эстонии в 1941 году с матерью одиннадцатилетним парнишкой Арво Виркус (справа) на поле колхоза «Север» Чаинского района Томской области. Мальчик слева – Ваня из семьи русских спецпереселенцев (фамилию установить не удалось).

Снимок сделан в 1946 г.

*Из семейного альбома семьи Виркус*



Высланные в 1941 году из Эстонии Эне Куссал с дочерью Вию. Поселок Тополевка Александровского района Томской области.

Снимок сделан в пятидесятых годах.

*Из семейного альбома семьи Куссал*



Высланная в 1949 году из Латвии семья Озолс перед возвращением на родину. Снимок сделан в 1957 г.

*Из семейного альбома семьи Озолс*



Высланная в 1949 году из Эстонии Хильда Бирк перед возвращением на родину у могилы своей остающейся в сибирской земле матери. 1957 г.

*Из альбома Айги Рахи*



Август 1941-го. Новый Васюган. Первые могилы детей из Эстонии.

*Из архива историко-просветительского общества Мemento (Эстония)*



Конец пятидесятых годов. Покинутая Муромка... Сотни подобных поселков на берегах таежных рек исчезли с лица земли. Заросли травой забвения улицы, струхли и упали кресты на давно заброшенных погостах... Сколько невинных людей зарыто в этой земле! Взрослых, младенцев... Зачем это было?.. За что?..

## II

В сентябре 1939 года началась Вторая мировая война. Немецкие войска вторглись в Польшу, полыхнула обошедшая более чем в сто тысяч человеческих жизней прелюдия к Великой Отечественной войне – Финская кампания... Красная Армия вошла в Прибалтику, Бессарабию и восточные воеводства Польши, к тому времени разгромленной вермахтом. Вместе с армейскими частями туда вошли войска НКВД... И спустя десять месяцев подневольное население Новосибирской области пополнилось шестью тысячами семей польских осадников<sup>42</sup> и беженцев из оккупированной Германией Польши, что в общей сложности составило 19569 новых спеццов – мужчин, женщины, детей...

Жаловаться им было некому и некуда. Всякий живший за рубежом – «социально опасный элемент»; будь доволен, что ты не в зоне, а на спецпоселении. Впрочем, быт новых спецпереселенцев мало чем отличался от быта заключенных. В доказательство приведу выдержку из датированной 17 августа 1940 года докладной записки заведующей Новосибирским облздравом Астафьевой областному начальству в Новосибирск:

«Представителем облздрави обследован лагерь "Сосновка" в Асиновском районе. В этом лагере в настоящее время сосредоточено примерно около пяти тысяч спецпереселенцев, прибывших туда 14–20 июля. На сравнительно небольшой площадке расплосжены бараки, которые ранее использовались под заключенных, с общими двухъярусными нарами. Капитально оборудованных барачков всего девять, а другие, около десяти, облегченного типа, в том числе те, которые были срочно выстроены в связи с прибытием спецпереселенцев. Эти бараки без потолка, без окон... и люди располагаются на деревянном настиле, служащем одновременно полом... Часть спецпереселенцев располагаются под открытым небом, соорудив импровизированные шалаши... Транспорт не справляется с вывозом нечистот, они переполняют приемники, выливаются на поверхность и заражают территорию... Зафиксировано девять случаев брюшного тифа»<sup>43</sup>.



Тем не менее из всех побывавших в Нарымском округе спецпереселенцев польские осадники и беженцы понесли наименьшие потери – погиб лишь каждый десятый. Быть может, слово «лишь» в данном случае не совсем уместно, но по сравнению с другими категориями ссыльных смертность была не столь велика. Созданное в июле 1941 года в Москве польское правительство по мере возможности проявляло о своих согражданах заботу, и после войны они получили возможность вернуться домой.

Иная участь была у бывших граждан Эстонии, Латвии и Литвы. 14 июня 1941 года в этих включенных в состав СССР прибалтийских республиках и присоединенной к Советской Молдавии Бессарабии в одночасье по загоду составленным спискам были репрессированы десятки тысяч людей. «Переселяли в отдаленную местность СССР» семьи бывших членов местной самообороны, бывших полицейских, хуторян, владельцев лавок, мастерских, русских эмигрантов... Технология «массовых операций» была уже неоднократно опробована: внезапность, час на сборы (минимум вещей с собой) и под конвоем в «накопитель» – помещение клуба или школы... После переключки – на железнодорожную станцию в подогнанные ночью составы ГУЛАГовских вагонов. Двухъярусные нары, зарешеченные окошечки, небольшая дыра в полу... В этих душных, запертых на засовы вагонах долгий путь на восток...

Когда в 1939 году, после вторжения немецких войск в Польшу, правительство СССР заключило договоры о взаимопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой, ввод Красной Армии в эти республики население восприняло как гарантию от нападения Германии. Тем более что немцев в прибалтийских странах издавна не любили. Но когда, по ультимативному требованию Москвы, в Эстонии, Латвии и Литве одновременно были свергнуты правительства, а десятки тысяч людей отправлены в концлагеря и сибирскую ссылку, отношение к Советскому Союзу и соответственно к русским изменилось. «Чистка» приграничной территории от некоей пятой колонны привела к появлению врагов подлинных. У всех тех, кого увезли на восток, остались родные, близкие, друзья, просто соседи, у которых безжалостная акция происходила на глазах. Результат – воевавшие против Красной Армии воинские подразделения латышей, эстонцев и литовцев, «лесные братья» и всё с этим связанное. Сколько жизней было бы сохранено, не будь у Сталина и его окружения маниакального стремления кровавой

ценой повсюду насаждать свои порядки, свои методы, свою идеологию!

В отличие от всех предыдущих, массовая акция, проведенная в Прибалтике 14 июня 1941 года, была наиболее изощренной и бесчеловечной: семьи разлучали. Мужчин конвоиры загоняли в вагоны одного железнодорожного состава, женщин и детей – в вагоны другого, стоявшего на соседнем пути. До Урала эшелоны шли следом друг за другом, в Свердловске дороги разветвлялись – составы с мужчинами повернули на север, их семьи продолжили путь на восток. Мужчины – в концлагеря, женщин и детей – на спецпоселение в Сибирь.

Уже более шестидесяти лет живет в моей измученной памяти тот долгий, долгий путь. Мерный перестук колес, надсадный плач грудного ребенка на соседних нарах, запах немых тел, паровозного дыма, ночной топот чьих-то шагов по крыше вагона... Пропуская встречные поезда, эшелон подолгу стоит у разъездов и на каких-то станциях возле водокачек и юрпичных лабазов; прогрохочет мимо железнодорожный состав, вскрикнет паровоз, дернется, трогаясь с места, вагон – и снова в проколупанную складничком между досок стенки вагона щель выку убегающие назад перелески, поля, деревни, перекрытые шлагбаумами переезды... Жестко стучат на стыках рельсов колеса, словно отсчитывая убегающее время... И всё дальше от дома, всё дальше...

Раз в сутки на очередной стоянке, тяжело лязгнув снаружи железом, открывается вагонная дверь, и конвоир в синей фуражке с красным околышем приказывает идти за едой и питьем. Еда – восемь буханок черного хлеба, ведро пшенной или перловой каши; питье – ведро кипятка и ведро сырой воды. Всё это приносим в вагон в сопровождении вооруженного конвоира я и двое моих сверстников. Из других вагонов за едой и водой подростков водят тоже конвоиры с винтовками. Из-под вагонов пахнет мочой и пропитанными креозотом шпалами; люди на перроне молча провожают нас глазами; на деревьях возле станционных строений – стан черных галок... Как-то раз, наверное, пьяный мужчина стал что-то кричать не то нам, не то конвоирам – двое военных подбежали к нему и, схватив под руки, увели. Помню, как на девятое утро пути, когда эшелон остановился неподалеку от Ярославля, лежавшая на верхних нарах у узкого зарешеченного окошечка женщина негромко сказала: «Слушайте, наверное, началась война – на вокзале столпотворение, портреты, много военных...» Так на пути в Сибирь вошла в мою жизнь война, и

в памяти навсегда соединились война и ссылка, ссылка и война...

Всё чаще и дольше эшелон стоит на запасных путях, пропуская на запад воинские составы. На платформах – пушки, танкетки, полевые кухни; из бурых товарных вагонов смотрят на наш состав навалившиеся на перекладки красноармейцы. Удаляясь, прокричит паровоз, стихает шум ушедшего поезда, но всё еще наносит запахом угольного и махорочного дыма.

– Наверное, теперь папу возьмут в армию, – говорю я маме. – Ведь папа артиллерист, он воевал с немцами.

Мама молча гладит по голове прижавшуюся к ней Светлану.

– В армии нужны артиллеристы. Да, мама?

Мне хочется, чтобы мама ответила, чтобы что-нибудь сказала.

– Может, его уже везут, – говорю я ей.

Она грустно смотрит на меня:

– Не знаю... Может быть...

Наверное, понимает, что папу везут не воевать с немцами, но, быть может, еще на что-то надеется. Почему нам не говорят, что война? Зачем скрывают?

В вагоне нас было двадцать семь человек. Сегодня, более полувесна спустя, из тех двадцати семи в живых только трое. Тогда бывших детьми, сегодня – стариков. Пройдет еще несколько лет, и уже не останется тех, кто помнит ту дорогу, давящий сердце перестук колес; не останется тех, кто помнит, как в Новосибирске всех перегнали на пристань и снова томительными днями и ночами сопровождал нас неумолчный стук – но уже не вагонных колес, а долбящий стук натужно тянувшего баржу катера... Огромная, затопившая берега сибирская река, сгрудившиеся в пропахшем смолой трюме матери с детьми, неумолимо подступающий голод... Гнетущая неизвестность, тающая надежда, что где-то плывет другая баржа с теми, с кем разлучили роковым июньским утром, и где-то впереди большой город, в котором мы снова будем вместе. Но не плыла другая баржа, и не было впереди большого города. Была неведомая нам жизнь, у кого-то уже совсем короткая. И была разлука навечно. Если существует тот свет, свиделись на нем. Жены с мужьями, отцы с детьми... Погибшие на Северном Урале, умершие на нарымской земле от истощения, лишений, болезней. Отдавшие Богу души в сороковых и в тридцатых. Отмучившиеся, отстрадавшие... Встретились, если существует тот свет. Если он существует...

Рассказывали, что в том роковом сорок первом весенний паводок на Васюгане был необычно бурным и долгим. В кон-

це апреля, когда с густым шорохом прошло крошево льда, переполнившаяся тальми водами река несла сползшие с подмытых стрежью берегов деревья, коряги, дрова из полениц, опрометчиво стоявшие у воды бревенчатые срубы бань... Прибывало к крутояркам, крутило в водоворотках, снова выталкивало на стремнину и влекло к далекому устью, где безбрежная Обь, вобрав в себя темную васюганскую воду, несла ее дальше к ступенному Карскому морю.

Обычно в июле колхозники начинали косить траву на еще не просохших тошких ливах, но в то лето там, где в эту пору стояли стога, задержавшееся половодье отражало бескрайнее небо и полузатопленные тальники. Где-то на увалах горела тайга, и всё окрест было затянато недвижной белесой дымкой. Спутанные пожаром, бесшумно, как совы, прилетали в Красноярку сизые кукушки и, коротко прокукував, молча сидели на городьбе, предвещая беду. А далеко отсюда, на западе, правила тризна смерть. Пылили по дорогам танки, горели деревни, земля была изрыта взрывами, и воздух пах смрадным дымом войны.

В Васюганском районе в армию мобилизовали немногочисленных местных старожилов-остяков и молодых мужиков с верховья впадавшей в Васюган Черталы, куда они сбежали с семьями через болото из Привиртышья, когда там началась коллективизация и всё ей сопутствующее. По берегам Черталы раскорчевали гарь, срубили избы, но и в этой таяжной глуши не смогли схорониться от властей и повальной коллективизации. Поскольку значились они вольными, то уже на второй день войны отправили туда из райцентра на обласке<sup>44</sup> нарочного с повестками военкомата, и взяли этих мужиков на фронт в первую голову. В первую голову почти все они и погибли.

А к «кулацким сыновьям» доверия не было. Еще в 1932 году из Главного управления лагерями ОГПУ во все отделы по спецпереселенцам ПП ОГПУ<sup>45</sup> было разослано распоряжение о ликвидации ячеек ОСОАВИАХИМа<sup>46</sup> в спецпоселках, поскольку, как говорилось в распоряжении, «организация ОСОАВИАХИМа содействует военизации спецпереселенческой молодежи, что должно быть пресечено самым решительным образом». Этой же директивой запрещалось преподавание военноведения в школах для спецпереселенцев, а там, где совместно учились дети спеццов и вольных родителей, предлагалось в часы, отведенные для военноведения, уроки проводить раздельно: вольных обучать военному делу, спеццам – преподавать обществоведение. Книгоцентру и отделам народно-



го образования, в функции которых входило распространение книг, было дано указание не допускать поступления в спецшоселки военной литературы<sup>47</sup>. В феврале 1940 года, когда уже пятый месяц шла Вторая мировая война и всё очевидней становилось, что, несмотря на заключенный с Германией договор о ненападении, военного столкновения с ней Советскому Союзу не избежать, Народный комиссариат обороны СССР сообщил начальникам военных округов: «Призывников из числа трудпоселенческой молодежи, состоящей на учете местных органов ОТП ГУЛАГ НКВД, к призывным участкам не приписывать, учет их не вести и в Красную Армию и на флот не призывать»<sup>48</sup>. Закономерно, что, когда война разразилась, сыновей раскулаченных крестьян в Красную Армию не мобилизовали. Тезис Сталина о том, что по мере построения в стране социализма возрастает сопротивление классового врага, получил новый импульс, и война с внешним врагом стимулировала практически непрекращавшийся поиск и разоблачение врагов внутренних. А, по определению властей, раскулаченный крестьянин – назови его трудпоселенцем или спецпереселенцем – «затаившийся классовый враг».

На двадцатый день войны секретарь Нарымского окружкома партии Ужев информировал секретаря Новосибирского ВКП(б) Кулагина: «По конспиративным соображениям пишу Вам, т. Кулагин, лично от руки настоящую записку о политической обстановке, складывающейся в округе в связи с военной обстановкой... В округе около ста тысяч составляет население высланных в Нарым кулаков из разных областей и краев Советского Союза... В 1932 году (в 1931-м. – В.М.) в Нарыме было большое восстание высланных кулаков, часть повстанцев была убита во время подавления восстания, часть репрессировали после ликвидации восстания, но некоторая часть бывших повстанцев живет в Нарыме и в настоящее время. За последние дни как от отдела УНКВД, так и от райкомов ВКП(б) поступают сигналы об оживлении активности среди высланных кулаков и прочих антисоветских элементов. Активность эта проявляется в форме открытого сочувствия фашистам, в форме пораженческой (по отношению к СССР) агитации, с проявлением террористических и повстанческих настроений... Принимаемые нами меры: активизируем работу органов НКГБ и НКВД; в районах создаются боевые группы на случай ликвидации открытых выступлений; выполняю Ваше указание об организации боевых подвижных отрядов, создаем заслоны на пунктах выхода из Нарыма по глухим отдаленным местам.

Через органы НКВД изымаем охотничье оружие у кулаков и нарезное оружие у лиц, не внушающих доверия... Просим, согласно мобилизационного плана, прикомандировать к окружному отделу НКВД взвод войск из внутренней охраны. Для вооружения (при необходимости) боевых подвижных отрядов (по 30 чел. каждый) просим послать в распоряжение окротдела НКВД 60 боевых винтовок, 2 пулемета и 20 револьверов системы Наган. Патроны имеются на месте... Просим обязать областное управление НКВД срочно рассмотреть вопрос об открытии в Нарыме закрытого лагеря для изоляции наиболее активной части из числа адм. ссыльных и местных кулаков»<sup>49</sup>.

В следующей информационной записке Новосибирскому обкому ВКП(б) Ужев сообщает: «Наряду с общим подъемом трудящихся округа, выражающих чувство глубокого патриотизма, с каждым днем увеличивается количество фактов явно враждебного настроения со стороны ранее высланных кулаков... В Пудинском районе имеет место ряд контрреволюционных выступлений. Спецпереселенка Боровская заявляет: "Вот придут немцы, тогда мы служащих (надо полагать, коммунистов) заставим корчевать. Расстреливать не будем, пусть корчуют". Секретарь Молчановского РК ВКП(б) тов. Задворнов сообщает, что в колхозе "Сила большевика" Колбинского сельсовета 24 июня на митинге из 86 человек значительная часть не голосовала за принятие резолюции, выражающей гнев и ненависть к кровавожидному фашизму. Причину такого нездорового настроения тов. Задворнов объясняет, во-первых, отсутствием систематической массово-политической работы среди колхозников и – во-вторых: в этом колхозе более сорока человек было изъято органами НКВД как враги народа. Лесообъездчик Колпашевского лесхоза Коркин распространял слух среди колхозников Матюшкинского сельсовета о том, что "СССР внезапно напал на Германию, не Германия напала на СССР. Наши правители тоже с головой, знают, когда нужно напасть". По всем вышеперечисленным фактам приняты необходимые меры, соответствующие военному времени»<sup>50</sup>.

В свою очередь секретарь Парабельского райкома ВКП(б) Новиков информирует Нарымский окружком: «Некто Копьев (сын пола) говорит: "Я был в Парабели. Что там делается – ужасно: плач, стоны, крики, дезертирство из призванных в армию... Одним словом – гибель". Из окружкома начальнику окротдела НКВД Островляничку поступает докладная: «Просим принять соответствующие меры». Следствие ведется быстро. Копьев осужден по применяемой к «врагам народа» 58-й статье к высшей

мере наказания – расстрелу. Но приговор заменен десятию годами заключения в исправительно-трудовых лагерях<sup>51</sup>.

Шла самая кровопролитная в истории России война. Сотни тысяч солдат и командиров Красной Армии уже пали на полях сражений или оказались в немецком плену, тысячи и тысячи женщин и детей гибли от бомбежек и обстрелов в городах и на запруженных беженцами дорогах, а здесь усиленно продолжали бороться с «классово чуждыми элементами».

На заседаниях бюро районных комитетов ВКП(б) спешно исключают из партии коммунистов за родство и связь с этими «классово чуждыми». Александровским райкомом исключен из партии организатор ВКП(б) Яров, скрывший, что его отец имел кулацкое хозяйство и в 1930 году был лишен избирательных прав<sup>52</sup>. Бакчарским райкомом ВКП(б) исключена из партии секретарь райкома комсомола Киприянова, утаившая, что ее отец в 1928 году облагался твердым заданием и часть его имущества за невыполнение обязательства была продана сельсоветом<sup>53</sup>. Исключен из партии помощник Бакчарского районного прокурора Слободчиков, который «имел связь с классово чуждым элементом и пьянствовал с ним»<sup>54</sup>. Кривошеинским райкомом ВКП(б) исключена из партии медсестра Чумачкова за притупление революционной бдительности, поскольку вышла замуж за добровольно служившего в армии Деникина адм. ссыльного, осужденного по 58-й статье<sup>55</sup>. Сельского письмоносца Волкову лишили партбилета за то, что, когда она вступала в партию, «скрыла, что в 1933 году сожительствовала с спецпереселенцем Редькиным, с которым в 1941 году оформила сожительство браком»<sup>56</sup>.

В поступающих окружному комитету ВКП(б) информациях райкомов партии о политической обстановке в округе сообщается о новых контрреволюционных выступлениях: «Трудпоселенец, счетовод колхоза «Советский Север» Степанов, заявил: «Эти советские побирушки, уполномоченные по займу, просят у нас, врагов советской власти, денег взаймы»<sup>57</sup>; «Кителев из Белковской посмоендатуры на собрании по вопросу о сборе теплых вещей для Красной Армии, указывая на портрет Кагановича, заявил: «У нас нет теплых вещей для армии. Вот с таких надо снимать, у них всего много»<sup>58</sup>; «Трудпоселенец Митрофанов Василий (Парбигская комендатура) говорит: «Германия умная – она победит, а русские дураки, потому что весь хлеб свалили Германии, а сами остались без хлеба»<sup>59</sup>; «Спецпереселенка Потапова из Высокого Яра говорит: «Когда нас выслали, так не видели, что мы сотнями гибли, а теперь о помощи

закричали»<sup>60</sup>; «В трудпоселке Обрыв трудпоселенка Скопинцева Елена говорила: «Скоро ли распустят эту колхозную кабалу?»<sup>61</sup>; «В колхозе имени XVII партсъезда «колхозник» Щербин А. Г. говорит: «Почему это так получается: нам говорят, что колхозники сами колхозу хозяева, а посмотрим – не колхоз распоряжается, а власть? Весь хлеб в колхозах забрали, а теперь сиди без хлеба»<sup>62</sup>; «В колхозе имени Кирова «колхозник» Селиванов говорит: «Нас Сталин заморил с голоду, народ гибнет, а Сталин сидит»<sup>63</sup>; «Член спецпереселенческой артели «Ким» Донскова заявила: «Когда я находилась в тюрьме, мне гораздо лучше было жить, чем сейчас живу в колхозе. Хоть что делайте, а на колхозную работу я не пойду и буду добиваться, чтобы меня осудили. Мы добились того, чтобы выкопать братскую могилу и всех нас туда закопать и зарыть землей...»<sup>64</sup>; «Кулачка Иванова Варвара пропагандирует: «Все вожди уехали на фронт, и Сталин уехал. Теперь там всех убьют, всех больших и маленьких большевиков. Да чтобы их всех прибили...»<sup>65</sup>; «Спецпереселенка Ярина ведет контрреволюционную агитацию о том, что получила от родственников письмо, в котором те сообщают, что Киев занят немцами»<sup>66</sup>; «Спецпереселенцы Коноховский и Колесников заявили, что ранее газеты сообщали, что Советский Союз располагает запасами на десять лет, а сейчас требуют усиления заготовок»<sup>67</sup>; «Девятилетний мальчик, сын изъятых органами НКВД Устюгова, заявил сыну председателя сельсовета тов. Парфенову, что «твой отец идет завоевывать чужую землю»<sup>68</sup>.

Девятилетний сын расстрелянного в 1938 году «врага народа» – тоже враг... Информация окружному комитету ВКП(б) о политической обстановке в районах завершается уведомлением, что по всем фактам контрреволюционных вылазок и выступлений ведется расследование. В Васюганском районе председатель колхоза «Идея Ленина» Илья Лукьянов «за стремление использовать колхоз как организованную форму в контрреволюционных целях» осужден по 58-й статье к десяти годам заключения в исправительно-трудовых лагерях<sup>69</sup>. В Пудинском районе председатель колхоза «Колос» Новосельцев, который, как сказано в приговоре, «будучи враждебно настроен, способствовал уклоняющимся от мобилизации дезертирам», осужден к высшей мере – расстрелу, замененному десятилетним заключением в исправительно-трудовых лагерях<sup>70</sup>. В Чанском районе «за намерение создать контрреволюционную группу» расстреляны конюх Амос Татарников<sup>71</sup> и матрос Нарымского пароходства Федот Николаев<sup>72</sup>. В Бакчарском



районе член колхоза «Тажный передовик» Иван Иовик<sup>73</sup>, который, как явствует из сообщения в Нарымский окружной комитет ВКП(б), «напившийся пьяным, в группе колхозников заявил: «Я вполне солидарен Гитлеру», после чего пошел на квартиру председателя колхоза Лыскова, избил его жену и еще двоих колхозников, при этом выражаясь: «Гитлер бьет на западе, а я буду начинать здесь»<sup>74</sup>, – осужден за контрреволюционную пропаганду к десяти годам заключения в исправительно-трудовых лагерях...

Разумеется, в Нарымском округе, где значительную часть (в ряде районов – большинство) населения составляли раскулаченные крестьяне, противников советской, точнее, большевистской власти было немало. Обрекая на страдания и смерть тысячи и тысячи крестьянских семей, власть сама создала этих врагов, нагнетая в себе перед ними страх в связи с начавшейся войной. Но, судя по трактованным как контрреволюционные высказываниям спецпереселенцев, о которых, очевидно, далее сообщалось в Москву, едва ли были правомерными выводы о возможности новых крестьянских восстаний, для подавления которых потребовались бы боевые отряды, а также пулеметы, винтовки и наганы, которые просил прислать секретарь Нарымского окружного комитета ВКП(б) Ужев.

Какое восстание могло начаться в спецпоселках, где действовала внутренняя агентура, доносившая всё и вся соответствующим органам? Над всеми тогда довлел укореившийся в сознании страх периодических репрессий, а из памяти нарымских спецпереселенцев ещё не изгладилось кровавое подавление заведомо обреченного на неудачу восстания в Чанском районе. С тех пор за десять лет в округе было лишь одно убийство представителя власти – в Майске (Васюганский район) был убит районный комендант. Но убит не спецпереселенцами, а заведующей фельдшерским пунктом, состоявшей с этим комендантом, как принято было тогда говорить, «в незаконной половой связи». Застрелила его фельдшерница у себя дома из его же нагана. Пытались приписать убийство «кулакам», но уж слишком трудно было это сделать, поскольку всё было очевидно, да и сама стрелявшая содеянного ею не отрицала. Убитого коменданта с почестями похоронили возле здания районной комендатуры, но в 1937 году пирамидку со звездочкой с могилы убрали, а могильный холмик сровняли с землей. Причина осталась неизвестной, но ходили слухи, что убитый якобы оказался причастным к «врагам народа»...

Возвращаясь к начавшейся четыре года спустя Великой Отечественной войне и к «политико-моральному состоянию» спецпереселенцев, могу сказать, что благодаря предвоенной пропаганде у них, во всяком случае у подавляющего большинства, не было симпатий к фашистской Германии и Гитлер ими не воспринимался как некий спаситель. В последующие военные годы это неприятие во много раз возросло. Горьки призывы на фронт, но если бы одновременно с вольными призывного возраста мобилизовали в армию сыновей раскулаченных крестьян, то в сознании спецпереселенцев не утверждалась бы мысль, что и во время войны они остаются «классово чуждыми кулаками», которым власть не доверяет даже защищать Родину. А в селах, где жили вольные, матери и жены фронтовиков не держали бы обиды и зла на спецов за то, что они «спасаются за спинами их мужей и сыновей». Немцы были под Москвой, Ленинград – в блокадном кольце, а власть всё не решалась дать «кулацким сыновьям» в руки оружие.

Опасения властей округа о «возможности активизации контрреволюционных элементов» усилились в связи с вселением в округ более двадцати тысяч ссыльных из Эстонии, Латвии, Литвы, Бессарабии и с Буковины. 1 августа 1941 года начальник отдела труд- и спецпоселений УНКВД по Новосибирской области Бурлака докладывал в Москву: «В силу того что в Нарымском округе сконцентрировано большое количество трудпоселенцев и сейчас вселен новый контингент ссыльнопоселенцев, а также потому, что там нет совершенно воинских подразделений, нами создаются в районах боевые дружины из партийно-комсомольского актива под руководством начальников НКВД, назначение которых – быстрая ликвидация всяких вольновок, могущих возникнуть в трудпоселках»<sup>75</sup>. Можно лишь удивиться тому, что могло подчас вызвать тревогу у представителей местной власти. Председатель Парабельского райкома профсоюзов Богатырев письменно информировал райком партии: «Есть случаи в Парабели, когда из кулаков-переселенцев сочувствуют привезенному контингенту, приносят лук зеленый, отдают бесплатно»<sup>76</sup>.

Присущее русским крестьянкам сердоболые. Женщины и дети, которых привезли в ссылку, измучены долгой дорогой, многие из них не умеют говорить по-русски... Но и с точки зрения секретаря Парабельского райкома ВКП(б) Кулюпанова, сочувствие к ним раскулаченных крестьянок таит опасность. «Новый контингент находит себе питательную среду в отдельных людях ранее высланного кулачества, – докладывал

Кулюпанов уже в окружной комитет партии. – Так, например, были случаи, когда спецпереселенцы приносили лук и давали вновь прибывшим бесплатно»<sup>77</sup>.

А секретарь Нарымского окружного комитета ВКП(б) Ужев спешит сообщить о бесплатном луке Новосибирскому обкому партии: «В районном центре Парабель жены бывших кулаков на пристань принесли продавать пучки лука и, когда узнали, что на пристани выгрузились адм. ссыльные, бесплатно раздавали лук адм. ссыльным»<sup>78</sup>.

Как реагировали на это в Новосибирске – неизвестно. Быть может, включили сообщение Ужева в свою докладную о политико-моральном состоянии спецпереселенцев и информировали Москву. Проявлять сочувствие к привезенным с запада ссыльным было нельзя. Еще выдержка из докладной Кулюпанова в Нарымский окружной комитет ВКП(б): «В поселке Белка на общем собрании колхоза один из старых колхозников обратился к гражданам с призывом пожалеть вновь прибывших и общаться с ними как следует, научить их работать, за что тут же благодарили его приехавшие. А сам отказался совершенно от подлиски на заем. По этим фактам приняты соответствующие меры»<sup>79</sup>.

Не ведали ссыльные из очередного «нового контингента», что предстоит им провести в Сибири долгие годы; не ведали, что многим из них не суждено вернуться в родные края к Балтийскому морю, в Карпаты, к Днестру... Но тогда, жарким летом сорок первого, еще надеялись. Всё тот же Кулюпанов ставит в известность Нарымский окружной комитет партии: «Из Старицы передали телеграмму, а парабельский радист в свою очередь передал телеграмму в Колпашево следующего содержания: «17 июля 1941 года из Старицы Совнарком, Сталину. Эшелон Буковины 870 душ кочует шестую неделю. Сейчас находится на барже Старице. Старики и дети, нетрудоспособные женщины. Несколько умерло, грозит эпидемическое заболевание. Район Парабели перетружен, начальство трудом кормит. Просим верить лояльности, преданности... Для нас тяжелые условия, климат, жилища нет, грозит физическому существованию. Просим срочного распоряжения об изменении направления. Старшие вагонов Черкес, Милихсон, Дучак». Этой наскавозь лживой телеграмме (так как не только смертности, но и случаев заболевания в нашем районе не было) работники телеграфа не придали значения... Работникам связи даны соответствующие указания и разъяснения»<sup>80</sup>.

Наивные души... Надеявшиеся, что Сталин даст указания; надеявшиеся, что их телеграмма будет отправлена. Указания

и разъяснения дали работникам связи, а не им. Какие – понять не трудно. Что же касается «лживости», то едва ли отправлявшие телеграмму сообщали неправду, что несколько человек в дороге умерло. Меня с мамой и сестренкой везли на другой барже, на которой были семьи, высланные из Эстонии и Латвии, но условия были одинаковы. Помню, как буксирный катер дважды подчаливал нашу баржу к пустынному обскому берегу, и каждый раз по узкому трапу уносили с палубы завернутое во что-то белое мертвое детское тельце. Трупик закапывали в нескольких шагах от плескавшейся реки. Могильный холмик сырого речного песка, крест из связанных бечевкой тонких таловых веток... Длинная череда смертей еще предстояла, маленькие дети умирали первыми... Однако в поселках, где потом довелось мне жить, порой первыми уходили из жизни матери...

Впрочем, окажись тогда привезенные с запада ссыльные в таких условиях, в каких оказались здесь в 1931 году раскулаченные крестьяне, все эти несчастные женщины и дети погибли бы уже в первые месяцы ссылки. «Новый контингент» привезли на обжитые места. Хотя и в убогие, стиснутые заболоченной тайгой, но всё-таки в поселки. Часть семей разместили в пустовавших по той или иной причине постройках, часть подселили в избы к первым переселенцам. Был кров над головой, но надо было на что-то жить и чем-то питаться. Поначалу новым ссыльным продавали в лавках сельпо по спискам хлеб. Пятьсот граммов на день взрослому, триста – иждивенцу. Кроме хлеба, соли и спичек, в сельпо ничего не было. Очевидно, имелась мука, из которой выпекали хлеб, но купить ее было нельзя. Осенью хлеб стали продавать только работающим, иждивенцам паек сократили до двухсот граммов. А работа была только колхозная, и никто из привезенных не был к ней приспособлен. Мама моя помимо родного русского языка с детства знала три иностранных – французский, английский и немецкий, но кому в Волково, куда нас тогда поселили, нужны были эти языки? Здесь надо было уметь работать вилами, лопатой, пилой, топором... Но и за колхозную работу не платили, а начисляли неведомые новым ссыльным трудодни, на которые обещали по окончании года выдать сколько-то зерна<sup>81</sup>. Давно ушедший в небытие трудодень был не «палочкой» в таблице за выход на работу, как сегодня подчас пишут те, кому не пришлось за эти трудодни работать, – трудодни начислялись в зависимости от выполненных норм выработки. Нормы были большими, даже не все крестьянки, при-



вычные к деревенской работе, могли их выполнить, а следовательно, этот трудодень заработать. Что же говорить о женщинах, прежде занимавшихся лишь домашним хозяйством и воспитанием детей?.. Неумелым, слабосильным, им бригадир вписывал в ведомость за проработанный день по полтрудодня, а подчас и четвертую часть его – двадцать пять сотых..

Те, у кого были деньги, покупали картошку у первых ссыльных. Выменивали на нее и привезенные из дому вещи. Но деньги быстро кончились, а здешним поселенцам не нужны были нарядные платья, кофточки и шелковые комбинации. Им требовались вещи, годные для работы. Мама моя продала кому-то за бесценок свое обручальное кольцо и наши нателенные крестики, но за большой парусиновый мешок, в котором мы привезли два одеяла и из которого женщина, выменивавшая у нас этот мешок, сшила мужу парусиновую куртку, маме дали целых три ведра картошки. Не помню, на какое время нам ее хватило, от голода всё равно те три ведра не спасли, но, вспоминая всё то, словно ощущаю горьковатый вкус высушенных картофельных очисток, которые мы ели, когда картошки не стало..

В ноябре затрещали сибирские морозы, но для работы зимой у нового контингента ссыльных не было ни одежды, ни обуви. Продавать хлеб в сельпо им не стали. И взрослым, и детям. Помню голодные, всё укорачивающиеся зимние дни, настывший на окнах лед помню, как примерзали к подошвам ботинок ноги в тонких папиных носках, когда я тащил из леса сушину, чтобы истопить печку; помню довлевшую над нами неизвестность, мучительное ощущение безысходности и всё еще тлеющую надежду увидеть папу..

Однажды приехавший в Волково начальник милиции, приказав председателю колхоза созвать в колхозную контору всех живших в поселке ссыльных нового контингента, объявил им их срок ссылки – двадцать лет. В тот вечер я сказал маме: «Когда нас отпустят, мне будет тридцать пять лет, Светлане – двадцать шесть, тебе – шестьдесят три.. Ты, мама, еще не будешь совсем старой». Они умерли через восемь месяцев. Маме навсегда осталось сорок три года, моей сестренке Светлане – шесть лет..

Нет сомнения в том, что из ставших в 1940 году советскими пограничными республик в Сибирь выслали бы тысячи людей и независимо от войны. Если в течение двадцати лет «изымали» и карали «скрытых врагов» у себя в стране, то уж на территории бывших недавно буржуазными республик было где

проявить себя чекистам. Аресты начались сразу после того, как туда с частями Красной Армии вошли и подразделения НКВД «Выявить контрреволюционный элемент» труда не составляло: все где бы то ни было работавшие граждане должны были заполнить анкеты, в которых, кроме данных о дате и месте своего рождения, трудовой деятельности, надлежало сообщать, в каких государствах жил и когда, в каких организациях состоял, в каких войнах и на чьей стороне участвовал. И, разумеется, есть ли родственники за рубежом и в СССР. После получения этих анкет работникам соответствующих органов оставалось составить списки «врагов советской власти», а затем заполнить бланки меморандумов на арест глав «классово чуждых» семей и ссылку их жен и детей в «отдаленные местности СССР». А то, что этих ссыльных с запада привезли в Нарымский округ, когда уже шла война, усугубило их тяготы и во многом определило отношение к ним местных властей.

«Состав ссыльных – как по национальности, так и по соц. составу – представляет довольно пеструю картину, – докладывал в Новосибирский обком ВКП(б) секретарь Нарымского окружкома Ужев. – Часть адм. ссыльных, и довольно порядочная часть, по своему прошлому и поведению в настоящее время заслуживает нечто большего, чем выселение в административном порядке.. Намечаем в ближайшее время вместе с органами НКВД и УНКГБ выявить лиц, ведущих контрреволюционную агитацию, и принять к ним меры, вытекающие из законов Советской власти, с тем чтобы в самом начале не дать возможности разнузданно и безнаказанно вести подрывную работу»<sup>82</sup>. Докладная датирована 19 июля 1941 года. Ссыльные только-только прибыли (несколько тысяч человек еще были в пути), но уже, по мнению секретаря окружкома, часть их «заслуживала нечто большего, чем выселение». Что имелось в виду за «нечто большим» – в пояснении не нуждается. Одиннадцать дней спустя в областной комитет ВКП(б) из окружкома поступает очередная «тревожная» информация: «Имеются случаи, когда члены артели «Трудовик Нарыма» Зуев и Шелехина обменивают ссыльным картофель урожая 1941 года на вещи.. Пользуясь временным отсутствием врача в с. Нарым, из вновь прибывшего репрессированного контингента рекомендуют себя врачами и производят подворный обход якобы для выявления и оказания помощи. Аналогичный случай был в поселке Камчатка Нарымского Совета. Больному катаром желудка Ушакову ссыльный врач (из Риги) выписал рецепт на русском языке без

указания дозы и подписи врача. Больному в выдаче медикаментов отказано. В пресечении всех фактов контрреволюционного характера принимаются самые решительные меры»<sup>83</sup>.

О «фактах контрреволюционного характера» сообщает и исполняющий обязанности секретаря Парабельского райкома ВКП(б) Новиков: «Среди отдельных адм. ссыльных, особенно женского состава с детьми, имеются разговоры покончить жизнь самоубийством на почве якобы голода... Имеются коллективные письма женщин с требованием привезти мужей, дать хлеб. Недостаточно еще до сих пор введение строгого режима на спецпоселках, враги используют... В ряде мест враждебному элементу удастся привлечь симпатию отдельных неустойчивых колхозников. Райкоменданту, начальнику РО НКВД дано указание навести строгий режим на спецпоселках... Коммунисты на проходившем 17 августа райпартсобрании проинформированы о проводимой антисоветским элементом контрреволюционной работе, подрывной деятельности вражеских элементов»<sup>84</sup>.

«Подрывная деятельность», «контрреволюционная пропаганда» – преступления, наказание за которые предусматривала печально знаменитая 58-я статья с ее четырнадцатью пунктами, почти по каждому из которых полагалась высшая мера наказания – расстрел. По 58-й статье летом 1941 года осужден и расстрелян живший в Пудино ссыльный из Риги Израиль Михайлович Вайник<sup>85</sup>, который «вел агитацию, что Гитлер лучше Сталина»<sup>86</sup>. По 58-й статье также летом 1941-го осуждена и расстреляна сосланная в Бакчар из Дрогобычской области Мария Иосифовна Гриб<sup>87</sup>, которая, как явствует из информации в Новосибирский обком ВКП(б), «при изучении речи товарища Молотова в группе колхозников заявила: "Да здравствует Гитлер!"»<sup>88</sup>. Быть может, случись этой молодой женщине со странной фамилией Гриб быть утнанной в Германию, где-нибудь там она бы сказала: «Да здравствует Сталин!» Кто знает, что думали о ней те, кто вел эту двадцатисемилетнюю польку на расстрел? Какие чувства испытывали? Расстреляли ее, вероятно, в окружном центре – Колпашеве. Наверное, и ее косточки, вместе с останками сотен расстрелянных там других «врагов народа», тридцать восемь лет спустя, накануне Дня Победы, вымыла обрушившая горестный Колпашевский яр неспокойная Обь...

Но вновь обращусь к Красноярке. В конце июля сорок первого туда привезли на спецпоселение двадцать семь еврейских семей с Северной Буковины. Четырнадцать семей в полном

составе – мужья, жены, дети... Через много лет я узнал, что главы подлежащих репрессии семей были поделены на «социально опасных» и «социально вредных». Я упоминал об анкетах, во многом на основании которых решались судьбы тысяч и тысяч людей. В прибалтийских республиках все мужчины в репрессированных семьях значились «социально опасными». Дорога у них была одна – в лагеря. За оставшуюся им недолгую жизнь почти никто из них так и не узнал, где их семьи и что с ними. А разлученным с ними женам и детям, которые смогли выжить в ссылке, много лет не было известно, что случилось с их мужьями и отцами.

В семьях репрессированных на Буковине и в бывшей Бессарабии более половины мужчин были зачислены в категорию «социально вредных». Таких власть, лишив имущества, отправляла не в концлагеря, а вместе с их семьями на спецпоселение в Сибирь. Многие «социально вредные» мужчины умерли там от голода и болезней, но они были рядом со своими женами и детьми. Беззащитным, беспомощным женщинам, чьи мужья находились или уже погибли в концлагерях, мученическую жизнь усугубляла разлука. Впрочем, может быть, лучше не видеть, как рядом умирает родной тебе человек, которого ты бессилен спасти... Может, лучше надеяться, что он где-то жив и ты с ним увидишься. Надеяться даже на смертном одре...

Полвека спустя после тех страшных лет я много времени провел в различных архивах, хотел знать о трагедии спецпереселенцев не только то, через что самому пришлось пройти, но и то, что могли поведать ставшие доступными архивные документы. Исследовать историю сылок и спецпоселений в масштабах Советской России – удел историков, я обратился к происходившему в Нарымском округе, и в частности в Васюганском районе, где мне довелось прожить двадцать лет, четырнадцать из которых я был спецпереселенцем.

В архиве Информационного центра УВД Томской области<sup>89</sup> сохранился список ссыльных, привезенных летом 1941 года в Васюганский район: эстонцев, латышей, русских, евреев, румын... В общей сложности 1414 человек. В основном женщины, дети и старики. Список составлен 3 октября 1941 года. К этому времени на васюганских погостах уже были свежие могилы ссыльных «нового контингента». В первые месяцы памятного сорок первого только в высланных из Эстонии семьях умерло 33 ребенка<sup>90</sup>. В поселке Айполово, где около пятидесяти таких семей две недели прожили на пересылке в пустовавшем колхозном клубе, в августе скончалось восемь детей. Голод



еще только подступал, умирали не от истощения, а от так и не выясненной инфекционной болезни. Там, в Айполово, я впервые копал могилы. Моя сестренка тогда металась в жару, но выжила. Выжила, чтобы умереть в октябре 1942-го.

Умирали привезенные туда в сорок первом году ссыльные от болезней, лишений, но больше всего погибших от голода. «Атрофическое расстройство питания» – значит причина их смерти в справках, хранящихся в Информационном центре Томского УВД вместе с другими документами, по которым можно узнать судьбу тех людей. Атрофическое расстройство питания... Кем-то изобретенный неуклюжий термин, дабы скрыть подлинную причину тысяч смертей – истощение от голода, дистрофию.

Однако о Красноярке. Когда весной сорок пятого, после отмененного тогда призыва в трудармию, меня отправили в этот поселок, то из семидесяти трех ссыльных, привезенных туда четыре года назад, там оставалось лишь четверо. Не все уже изначально оказались в одинаковых условиях: у кого-то имелись деньги и вещи, которые можно было обменять на продукты, у кого-то не было почти ничего. Были малосильные, сразу павшие духом, были более стойкие... Разнились и условия жизни в поселках, куда комендатура определила на жительство новых спецпереселенцев. В одних поселках сосланные туда ранее крестьяне за прошедшие годы в меру своих возможностей обустроились, но там, где земля была особенно скудной, даже в довоенные годы не ели вволю хлеба, а картошки с огородов хватало лишь до весны.

Красноярка не была в числе таких нищих, скорее наоборот. Тем не менее двадцать девять привезенных туда в первом военном году мужчин, женщин и ребятишек навсегда остались на погосте этого, ныне уже давно покинутого людьми, поселка. Как существовали, куда девались сосланные сюда с Буковины – знаю со слов тех из них, с кем довелось общаться много лет спустя уже в Томске, куда, прожив два десятилетия на Севере, я приехал на жительство и где обосновалось несколько семей, когда-то привезенных в Красноярку с Буковины. Знаю об их тогдашней жизни и по рассказам тамошних крестьян – первых спецпереселенцев, с которыми бок о бок вместе прожил и проработал почти шесть послевоенных лет, пока наш колхоз не объединили с соседним, после чего Красноярки уже не стало.

Когда вспоминаю этот поселок, мысленно вижу низенькие, быстро состарившиеся избушки с местами подернувшими

мися мохом тесовыми крышами, обнесенные жердями огорода, бревенчатую колхозную контору в полутора десятках шагов от обрывистого берега Васюгана, над темной, кажущейся сверху недвижимой водой которого носятся источившие гнездами глинистый яр стремительные стрижи; вижу поросшую по обочинам травой улицу, срубленный из сосновых бревен амбар, возле которого на дощатом настиле суетятся, чирикают, воробьи... едешь мимо на лошади, простучит по настилу, стоня воробьиною стайку, телега – и снова неслышно катятся колеса по неглубокой наезженной колее... Вижу приземистую, осевшую в землю кузницу, где помогал ковать докрасна раскаленные в горне подковы, отвалки и еще что-то нужное колхозу; вижу конный двор на пологом взгорке, тесную конюховку, где стойкий запах сбрун, дегтя и конского пота; вижу крытое почерневшей соломой гумно за покотинной, окаймленные по осеням багряным осинником поля, по которым столько раз довелось ездить и ходить; вспоминаю знакомые дороги, гати, мостики через овраги... И словно опять возникают те прозрачные звуки, запахи, снова слышу голоса тех, кто вошел тогда в мою жизнь, но уже давно удалился в другой мир.

Жили трудно, работали много и тяжело, но вспоминаю Красноярку не с печалью, а с какой-то светлой грустью. Самое страшное для меня было в сорок первом и сорок втором, когда жил в Волково. Сначала еще с мамой и сестренкой, затем один – голодный, завшивленный, без крова над головой, без просвета впереди... Но и потом, когда, самовольно уйдя из этого поселка, работал на рыбозаводе, всё равно ощущал себя подавленным и униженным. Я был из другой, чуждой окружавшим меня, отринутой и безжалостно растоптанной жизни. Милое моему сердцу детство и всё, что с ним связано, до скончания моих дней будет со мной, как и то невыразимо горестное, что обрушилось в отрочестве. На склоне лет, вдруг всплывая из глубины памяти, эта боль о том нещадном и горестном особенно сильна. Но тогда, весной сорок пятого, когда я приехал в Красноярку, тот страшный период моей жизни вроде заслонило вошедшее в нее новое. Окончилась война. Еще не ясная, была впереди уже другая жизнь. Была надежда, была молодость, была любовь... И всё это ассоциируется в моей памяти с Краснояркой.

Разумеется, у тех, кого пасмурным июльским днем сорок первого высадили там на приплеске реки к оклизшему от морозящего дождя глинистому взвозу, с которого началась для

них Красноярка, о том поселке иная память: голод, холод, утасовая надежда выжить...

Большую часть вновь прибывших поселили в построенную в начале тридцатых годов школу – длинное бревенчатое здание возле поросшего ропажником и лопухами глубокого оврага на краю поселка. За стеной классного помещения была квартира для учительницы, но незадолго до войны учителька умерла от скоротечной чахотки, на ее место из райцентра никого не прислали – учить было некого. Без малого всех ребятшек, которым бы жить, расти и ходить в школу, выкосил в первые годы ссылок голод. На всю Красноярку накануне войны насчитывалось шестнадцать детей школьного возраста. Тринадцать из них к тому времени уже окончили здешние четыре класса, трое ходили доучиваться в соседнюю Муромку, где имелась четырехклассная начальная школа. Чтобы окончить семилетку, надо было ехать за двести километров в Новый Васюган, определяться там к кому-то на квартиру, чем-то питаться... Всё это было накладно. Двух девчонок родители, снабдив чем могли, всё же туда отправили, остальные подростки работали в колхозе. Парнишки – на лошадях, девчонки носили в тайге вязанки пихтовой лапки. Грамоте выучились, и ладно, всё равно податься некуда. Школа пустовала – было куда поселить «новый контингент». Несколько семей поместили в барак на другом краю села. Когда поначалу в Красноярке была кустарно-промысловая артель, в том бараке бондарничали; когда артель преобразовали в сельскохозяйственную – бочки делать не стали, а заводили в это помещение больных чесоткой и лишаями лошадей, изолируя их от здоровых. Со временем надобность в изоляторе отпала – пропахший карболкой барак, так же как и школа, пустовал; а когда стало известно, что в Красноярку поселят новых ссыльных, для них там загода сколотили нары. Печь в изоляторе имелась. Было бы что варить... Еще две прибывших семьи местные деревенские взяли к себе «на фатеру».

Никто из них не был приспособлен к той жизни, которая ожидала их здесь. Особенно когда настала зима. Не было у них ни той одежды, ни обуви, которые спасали бы от нарымских морозов. Одновременно с холодами быстро и неотвратимо наступал голод, а с ним – дистрофия, водянка, дизентерия и неизбежная смерть.

Самые страшные военные зимы на Васюгане были на моей памяти с сорок первого на сорок второй и с сорок второго на сорок третий годы. Голодали во всех поселках. И не только

ссыльные из «нового контингента», но и крестьяне, завезенные сюда в тридцатых годах. «Стали учащаться невыходы на работу целыми группами людей, и сделано прогулов около пятисот человекодней, – сообщал Васюганскому райкому партии на девятый месяц войны председатель колхоза “Идея Ленина” Бирулин. – Всему причина – отсутствие хлеба в колхозе и у колхозников. За пятнадцать дней марта всего выдано колхозникам хлеба на 202 человека 625 килограммов (200 граммов на день. – В.М.) За недостатком хлеба целые семьи подверглись опуханию: Найденова Ф. – пять детей, Пегова М. – 3 дитя, Карпова Анна – 3 дитя... Из семенного материала взять нельзя, а продовольственного нет ни килограмма. Я, как председатель колхоза, разговаривать с населением не могу, ибо у каждого приходящего ко мне одно: “Хлеб, хлеб...” На неоднократные обращения к вам о помощи получил один ответ, что хлеба нет. И дальше что делать – не знаю»<sup>91</sup>.

А вот что тогда же докладывал райкому ВКП(б) председатель другого васюганского колхоза – «КИМ» – Жуков: «Участвуют в работе только животноводческие работники и бригадир-полевод. Остальной народ лежит наповал, даже не двигается по своим квартирам. За исключением отдельных колхозников, которые еще не выбились из сил. В артели в данный период нет ни грамма хлеба. Полученный лимит на март из сельпо – три центнера – обеспечивает колхозников по 100 граммов в день. Своего хлеба старого запаса у колхозников нет... Есть факт, что колхозница Бекина Пелагея уже находится перед смертью... В таком же состоянии Тваскус, Некрасова Пелагея и ряд других... Не лучше положение и у остальных. Как таковой помощи правление организовать не в состоянии, а поэтому прошу райком ВКП(б) дать конкретную помощь колхозу в части снабжения хлебом. В противном случае правление артели требует от вас – отдайте артели предложенный вами дать в помощь купинцам<sup>92</sup> 31 центнер хлеба. Где вы их избыщете – дело не наше. Нам нужен хлеб. Еще раз прошу не задерживать и как можно быстрее сообщить результат»<sup>93</sup>.

На первой докладной пометок партийного начальства нет, на второй – две резолюции: «Тов. Колмакову. Поручается вам лично поставить на обсуждение комсомольской организации в Грабцево вопрос о поведении Жукова. Он комсомолец, возможно ли оставлять его на работе и в комсомоле?» Вторая резолюция: «За растратки кормов оформить материал и передать прокурору о привлечении Жукова к ответственности. 6 апреля 1942 г.». Подпись неразборчива.



Смерть от голода именуется смертью от недоедания. Но исход один. Что касается начальства, то оно не недоедало. Во всех райцентрах, естественно и в окружке, были т. н. закрытые магазины, снабжавшие местное начальство жирами, рыбой, кондитерскими изделиями, папиросами. Бывал там белый хлеб, были промышленные товары. Из продуктов, отобранных у колхозников под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!», часть поступала в эти закрытые магазины, распределялись в пищу для сохранения своей жизни разные виды трав, которые сушат, толкут и едят. Из обучающихся в Ершовской школе 64 человек осталось 37, остальные отсеялись благодаря отсутствию хлеба. Члены артели «Парижская коммуна», ввиду того что не имеют питания, истощали до того, что не в состоянии подвезти корм для колхозного скота. За два месяца там пали две рабочие лошади, бык-производитель, две овцы и четырнадцать ягнят. Павший скот колхозниками был поеден. Опухание есть у двух колхозников сельхозартели «Идея Ленина». В коренном колхозе им. Карла Маркса только за последнее время от недоедания два случая опухания и факт смерти трехлетнего мальчика... В Среднем Васюгане с 15 по 25 марта умерли два человека, в том числе мать двух красноармейцев Кузьмина...» Датируется докладная записка 30 апреля 1942 года<sup>94</sup>.

Наиболее высокой смертность была среди нового контингента ссыльных. Спецпереселенцы, которых насильно доселили в эти края ранее, за прошедшие с тех пор годы так или иначе обжились: у них было жилье, имелись огороды, с которых худо-бедно накапывали себе на зиму картошки, некоторые завели коров, и, хотя без малого всё полученное от этих коров требовалось сдать в госпоставку, что-то доставалось и своим ребятишкам. Весьма существенно, что, по-прежнему оставаясь «социально чуждыми», первые спецпереселенцы всё же были своими. Другое дело – «новый контингент». Привезенные из западных республик во время войны, «не по-нашему разговаривающие», «не по-нашему одетые» – эти люди во всех отноше-

ях были чужими. К концу войны те, что выжили, постепенно освоились, но в первые годы на их долю выпало самое тяжкое, самое жуткое. Не столь давно жившие в другом мире и в совсем других условиях, внезапно отлученные от прошлой жизни, не только чужие, но и отверженные. Немощные старики, матери, тлеть пытающиеся спасти от смерти своих детей... Самые ослабевшие начали умирать в первую же зиму. Тихо и неотвратимо угасали в морозном безмолвии... Ни в коем случае не хочу умалить великих мук блокадников Ленинграда, где в сорок втором году погибли от голода и мои родные. Ничто не забыто, никто не забыт... Но от истощения во время войны умирали и в далеком тылу. Умирали в концлагерях и на спецпоселении. Умирали женщины и дети. Не буду сопоставлять число погибших, но каждая оборванная жизнь – невосполнимая потеря для родных, для близких. Когда обо всем этом пишу, я не к отместке взываю, а к ПАМЯТИ. К памяти о всех безвинно погибших в «отдаленных местностях» в годы сороковые и ранее – в годы тридцатые. К памяти о них и о том, что сегодня по чьей-то злой воле, по неведению ли, по бездушию ли вновь пытаются предать забвению.

Спустя десять месяцев после начала Великой Отечественной войны, когда Красная Армия уже понесла огромные потери, а немецкие войска рвались к Дону и на Кавказ, в Кремле наконец решились призывать на фронт сыновей раскулаченных крестьян. 14 апреля 1942 года Народный комиссариат обороны СССР разослал командующим военными округами директиву о призыве в армию 35 тысяч детей *спецпереселенцев* (так в директиве)<sup>95</sup>. В Сибирском военном округе таковых надлежало мобилизовать 9500 человек<sup>96</sup>. Тем не менее отношение к ним было настороженное – в работе призывных комиссий предусматривалось непременно участие представителей НКВД<sup>97</sup>.

В Красноярке парней призывного возраста было одиннадцать. Всего-навсего. Никто никогда так и не узнает, сколько их сверстников, крестьянских парнишечек, померло в первые годы ссылки, сколько будущих защитников Отечества было тогда загублено в васюганских, парабельских, пудинских, парбитских, бакчарских и других нарымских поселках. И не только там, а везде в «отдаленных местностях», куда, «ликвидируя кулачество», стонгла большевистская власть многодетные крестьянские семьи.

Летом из васюганских поселков путь на «Большую землю» был один – по реке. И для тех, кого призвали отсюда на фронт,

начало дороги туда – темный извилистый Васюган. Увез их всех с бережных поселков колесный пароход «Тара». После войны ходили по Васюгану тоже грузопассажирские колесные пароходы, где имелись каюты, но принадлежавшая до революции какому-то сибирскому купцу «Тара» была грузовым судном, и те, кому надо было ехать, ютились на ней кто в трюме, а кто и на палубе. Начинала навигацию «Тара» в начале мая, сразу после ледохода; спрямляя путь по полноводным половодьем протокам, несколько дней шла до районного центра Новый Васюган и, простояв там сутки, возвращалась в Карга-сок, который был уже на Оби. И во всех бережных поселениях, слышав далекий гудок, сбегались на берег стар и мал – поглядеть на этот, ассоциировавшийся с какой-то другой жизнью, непохожей на здешнюю, казавшийся тогда большим, пароход. В октябре последним рейсом «Тара» уходила по нахолодавшей реке в затон, прощаясь с каждым поселком до следующей навигации протяжными гудками. И так же долго и протяжно летом сорок второго гудел, отваливая от причалов васюганских поселков, кренившийся на борт пароход, увозя на войну сыновей раскулаченных крестьян.

Из Красноярки в тот призыв проводили шестерых. Как-то раз после войны, когда я жил в Красноярке, одна из овдовевших солдатских жен, вспоминая те проводы, сказала: «Провожали мы своих мужиков голосами». И горе, и вдовья доля – всё в этом «провожали голосами». Рассказывала, как бежали вслед пароходу, заплаканные, босые, бежали напрямик по полю к омуту, где, обогнув излучку реки, «Тара» снова подходила к яру. Еще раз увидели с обрыва тех, с кем разлучила война, замахали головными платками, зашлись криком... Берега души, опять огласил тоскливым гудком уходящий за поворот пароход, и не слышно стало, что кричат с берега женщины, что кричат им в ответ с палубы. Последнее видение, последнее прощанье...

Когда мне вспоминаются ходившие по Васюгану колесные пароходы, в первую очередь возникает перед глазами именно «Тара». Была она кособокой (отчего-то кренилась на правый борт). И во время того давнего рейса, когда подчаливала к берегу, плуце и плуце накренилась от струдившихся у бортов новобранцев, которых из каждого поселка всё прибывало. Тогда капитан велел выкатить из трюма на палубу бочки с соленой рыбой, и, когда пароход подчаливал к правому берегу, бочки катили на левый борт, если причал был слева – перекачивали на правый. Так устанавливалось равновесие: с одной стороны – бочки с рыбой, с другой – «живой груз» – люди.

Но была «Тара» не только разлучницей – была она и надеждой. Начинали ждать в Красноярке еще задолго до того, как завидится над скрытым тайгой Мартыновским плесом похожий на тучку дым из паровой трубы, но, показавшись из-за поворота и коротко вскрикнув под яром, «Тара» безостановочно проходила мимо. И ждали уже следующий рейс с низовья, вслушивались в плески и шорохи реки, и чудилось в них мерное дыхание приближающегося парохода. Но не было пассажиров в Красноярку, некого было встречать – и опять проходила мимо, скрываясь за поворотом, кособокая, с потемневшим на корме от дыма красным флагом разлучница «Тара». Мелела река, обнажались перекаты, и год от года, подмытый весенними паводками, обрушивался ненужный причал у вздымавшегося в гору с речного приплеска взвоза.

А тех, кого увезла «Тара», через два месяца, наскоро обучив в Бердске военному делу, отправили на запад. Получили в Красноярке в начале зимы от них несколько писем с полевой почты, а вскоре прислали и первую похоронную – погиб Сергей Баженов. Родителей у него не было, жениться не успел, получила извещение о его гибели сестра Нюра. Кровавую жатву собирала в том году смерть: одна за другой пришли похоронные на Кузьму Жердева и Павла Филиппова, затем сразу два скорбных извещения понесла в избу на окраину поселка сельписьмоносец пятнадцатилетняя Тонька – погибли братья Карючины, Михаил и Иван. Заголосили овдовевшие враз две молодые жены, заголосила мать... Стоят в Томске на берегу Томи мемориальные плиты с тысячами и тысячами фамилий погибших на той войне. Посмертно уравнившие вольные и бывшие спецпереселенцы. По алфавиту от «А» до «Я». Фамилии двух братьев на мемориальной плите – поврозь. Ошибся писарь: Михаил значится Карючин, Иван – Корючин. Развела их одна буква, но не развела смерть – лежат вместе в братской могиле у Старой Руссы...

Из шестерых, кого взяли из Красноярки на войну в сорок втором году, вернулся только Иван Кондратьев. Вернулся уже в послевоенном сорок шестом – с двумя орденами Славы и пятью медалями. Ирина, сестра его, на радостях говорила: «Я же знала, что Ваня будет жив... Если, уходя, что-нибудь дома забудешь, непременно вернешься... Рукавички ему связала, а он, когда собирался, забыл их взять. Проводили его с мамкой, вернулись, зареванные, в избу, а рукавички лежат под лавкой. Всё и сбилось...» Пробыл Иван дома недолго, забрав мать и сестру, уехал из Красноярки. Кроме тех шестерых, ближе к концу вой-



ны взяли из поселка еще пятерых ребят. Их Бог миловал, вернулись все, хоть и с отметинами от войны, но живые. И так же, как Иван, уехали вместе со своими родными подальше от этих мест. Председателю колхоза начальство велело никого из колхоза не отпускать, справок никаких не давать, однако семьи фронтовиков к тому времени уже были сняты с учета спецкомендатуры, права задержать их ни у кого не было.

Но возвращались уцелевшие фронтовики после войны – я же рассказываю о том, что было во время нее.

«На многих ответственных должностях в Васюганском районе продолжают оставаться бывшие кулаки, – сообщил окружному комитету ВКП(б) 30 апреля 1942 года в ранее упомянутой докладной записке Лямин. – Активизировались действия врагов Советской власти, участились побег. За два с половиной месяца по Верховской комендатуре совершили побег 19 человек. Бежавшие нашли приют в колхозе им. Кирова (из коренного населения), где председателем Халкин. Халкин отказал представителю комендатуры дать лошадей для догонки бежавших: «Они у вас будут бегать, а мы вам лошадей давать...» В то время, как комендатура разыскивала бежавших, последние укрывались у колхозников, но никто о них не сказал. Больше того, отдельные члены сельхозартели снабжали бежавших хлебом. «Что с ними поделаешь, – рассуждали, – плачут!»<sup>98</sup>

Военное лихолетье уравнило единой бедой раскулаченных крестьян с теми, кого здешняя власть называла «коренным населением». За тысячи километров от нарымской тайги гибли, защищая Родину, те и другие. Стандартные приходили на них похоронные, одинаково принимала павших земля, одинаковым было горе всех матерей, жен, сестер... Но война не внесла коррективы в укоренившийся у местного партийного начальства взгляд на спецпереселенцев как на «потенциально опасный элемент». «Во время командировки в Парабельский район Ужева (первый секретарь Нарымского окружного комитета ВКП(б). – В.М.) было предложено заменить на руководящих работах спецпереселенцев, – информировала в докладной записке секретаря окружкома по кадрам партаппаратчик Калинина. – Но это указание Парабельским райкомом не выполнено. В школах, начальных и средних, работают учителями 48 спецпереселенцев... Бухгалтером в роно работает сын попа... Зав. торговделом – сын попа. В райфо все бухгалтера – спецпереселенцы, в леспромхозе на руководящей работе – 11 спецпереселенцев, мастерами маслоделов в районе – 15 спец-

переселенцев... Считаю необходимым вопрос об ответственности за засорение классово чуждыми элементами поставить на бюро РК ВКП(б) и принять необходимые меры к очищению»<sup>99</sup>. На заседании бюро Нарымского окружкома обсуждался вопрос «О засоренности классово чуждыми элементами советских и хозяйственных организаций» Чаннского района, где – как явствует из протокола того заседания – «на работе в советских и хозяйственных органах занята значительная часть бывших кулаков. В их числе 2 человека в районном земельном отделе, 3 – на ветеринарном участке, 5 человек – бригадиры тракторных бригад. Бюро постановило очистить советские, хозяйственные и торгово-заготовительные организации от классово чуждых и враждебных элементов, а руководителей, допускающих засорение аппаратов, привлекать к строгой партийной и государственной ответственности»<sup>100</sup>. Аналогичное постановление приняло бюро райкома партии и в Александровском районе.

Судя по всему, указания об «очистке советских и хозяйственных организаций от враждебных элементов» после начала войны поступили во все районные комитеты партии Нарымского округа. То, что именно «кулаки» были умелыми и рачительными хозяевами, значения не имело. Хотя казалось бы: как не таким работать в земельных органах, быть бригадирами тракторных бригад и т. д! И маслоделами работать бы тем, кто ранее занимался этим в своем хозяйстве. Но коль ты бывший кулак, всё это тебе властью заказано. И учет тебе вести не дозволяется, и в школе учительствовать... Не для того тебя сослали на спецпоселение. Хоть ты хозяйственный и грамотный, но ты враждебный элемент.

Кстати, о грамотности самих местных руководящих кадров. В архивных документах Нарымского округа есть анкетные данные практически всех, кто занимал тогда более или менее значимые посты. Так вот, у большинства секретарей райкомов было неполное среднее образование, а у председателей райисполкомов и тех, кто возглавлял карательные органы, – начальное. Таким же было оно у прокуроров, следователей и народных судей. Даже редакторы двух районных газет имели за плечами всего по три класса начальной школы... Для спецпереселенцев все они были всесылными начальниками независимо от должности, а спецпереселенцы для этих начальников по-прежнему оставались кулаками. В компроматах, которые поступали в окружной комитет ВКП(б) на коммунистов, нарушающих партийную дисциплину, в частности

пьянствовавших, отягчающим обстоятельством было «пьянство совместно с кулаками». Приведу документ, характеризующий в этом отношении атмосферу того времени, – протокол заседания бюро Васюганского райкома ВКП(б) от 8 июня 1943 года:

«Члены ВКП(б) – секретарь финбанковской первичной парторганизации Глазырин А. Д., зам. председателя рыбкоопа Овсянников И. В. и кандидат в члены ВКП(б) Мокроусова А. П. – 6 июня 1943 г. приняли активное участие в пьянке на свадьбе у кулака Еремина, склонившего к сожительству комсомолку, члена бюро райкома ВЛКСМ Ильину. Коммунисты Глазырин, Овсянников и кандидат в члены ВКП(б) Мокроусова не придали никакого политического значения антикомсомольскому поступку Ильиной, предавшей ради своих личных интересов интересы комсомола, подошли к этому совершенно не партийному, как обыватели, потеряв партийное чутье и классовую бдительность, забыв в этот момент о Родине, готовящейся к решающим сражениям с немецко-фашистскими захватчиками. Своим присутствием на свадьбе и участием в пьянке объективно одобрили действия кулака и санкционировали поступок Ильиной. За потерю классовой бдительности и чувства ответственности перед партией, за участие в пьянке у кулака Еремина Глазырина А. Д. освободить от работы секретаря финбанковской первичной партийной организации, с работы зав. райфо снять и объявить строгий выговор с занесением в личное дело. Овсянникову И. В. объявить выговор с занесением в личную карточку. Мокроусовой А. П. поставить на вид. Предложить всем парторганизациям обсудить на закрытых партийных собраниях настоящее решение и мобилизовать коммунистов на решительную борьбу против обывательства, за чистоту звания члена партии и комсомола. Предложить секретарю РК ВЛКСМ Монголиной на внеочередном бюро поставить вопрос о члене бюро комсомолке Ильиной на предмет ее пребывания в комсомоле. Поручить секретарю РК ВКП(б) Юдину провести в районном центре объединенное собрание первичных комсомольских организаций, на котором подвергнуть широкому обсуждению антикомсомольский поступок Ильиной»<sup>101</sup>.

Горько, поистине горько. Казалось бы, совет да любовь молодым... Но оказывается, вступив с «кулаком» в брак, комсомолка Ильина запятнала чистоту звания члена ВЛКСМ и предала интересы комсомола. А три коммуниста, «потеряв партийное чутье и классовую бдительность, забыв о Родине и парти,

своим присутствием на свадьбе одобрили действия кулака»... Господи! Но кто бы осмелился тогда сказать, что «кулаков»-то, товарищи райкомовцы, десять лет как уже нет, они давно спешереселенцы, или, как вы их стали затем именовать, трудпоселенцы. Многие из них защищают Родину, многие погибли на фронте. Почему же для вас они некая низшая каста, и если сын раскулаченного крестьянина, которого вы упрямо называете кулаком, женится на комсомолке, то по этому поводу бюро райкома партии срочно принимает гневное решение, которое надлежит обсудить на закрытых партийных собраниях? Каким же лицемерием были напутствия райкомовских работников уходившим на фронт «кулацким» сынам, в то время как сами обеспечили себя т. н. бронью на освобождение от призыва в армию!

Клеймо «кулак» было как на родителях, так и на детях. Когда в стране начали реабилитировать подвергшихся репрессиям в тридцатых и сороковых годах, мне представилась возможность ознакомиться со своим хранящимся в архиве Томского УВД «Делом». Вместе с меморандумом на арест моего отца и ссылку нашей семьи в «отдаленную местность СССР», справками о смерти моих родителей и сестренки в «Деле» подшита справка о моей жене, на которой я женился в 1950 году: «Беспрозрачно Александра Дмитриевна, 1927 года рождения, по национальности русская, бывшая кулачка...» Когда ее с матерью и сестрами привезли на Васюган, ей шел пятый годик. И всё равно «бывшая кулачка»...

Но вернусь к судьбе ссыльных из т. н. нового контингента в годы военного лихолетья и приведу еще один, касающийся участи этих людей, документ из архива Центра документации новейшей истории Томской области – докладную записку начальника Васюганского РО НКВД Семкина секретарю Васюганского райкома ВКП(б) Тропову. Докладная была написана 11 января 1944 года: «В 1942–1943 гг. умерло только ссыльно-поселенцев, не считая трудпоселенцев и другого населения, 358 человек, тогда как рождаемости среди них совершенно не имеется, – информирует секретаря райкома начальник РОВД. – Кроме того, проверкой установлено, что 135 человек в ближайшее время остро нуждаются в серьезной помощи питанием, поскольку из этого числа имеются больные и престарелые, которые не имеют не только хлеба, но ни килограмма овощей. В сельпо их на снабжение никого не принимают, хотя в райпартбюро по этому вопросу имеется указание. К тому же, если часть из них работала в колхозах и имеет несколько зарабо-



танных трудодней, то в ряде колхозов хлеба к распределению совсем не пришлось. В результате смертность ссыльнопоселенцев всё увеличивается. Хуже того, мы имеем факты даже такие, что больных на периферии района не кладут в больницы из-за отсутствия своего хлеба у больного. Так же не лучше обстоит и с жилищными условиями. До сих пор ни один руководитель учреждения не считает своей обязанностью уделить на это внимание, хотя ссыльные у него работают. Большая доля ссыльнопоселенцев живет в самых отвратительных условиях. Об этом свидетельствует акт обследования, который у Вас имеется. Считаю, такое положение в дальнейшем терпимым быть не может. Требуется Ваше вмешательство по затронутому вопросу»<sup>102</sup>.

В архивном «Деле», где подшита эта докладная, сохранилась по существу аналогичная записка на имя начальника РОВД, еще ранее написанная помощником районного коменданта Сергеевым. К ней приложен список упомянутых выше ста тридцати пяти остро нуждающихся в питании ссыльных. Эстонские, латышские, русские, молдавские, еврейские фамилии. Сто тридцать пять детей, стариков, женщин... Сто тридцать пять умирающих. Беспомощные, обнищавшие, опухшие от голода, сплошь и рядом завшивленные, у некоторых начальников они вызвали брезгливое отвращение и желание еще более унижить. Но были и проявлявшие сочувствие. Не стану сегодня, более шестидесяти лет спустя, делить тех, кто был тогда в силе, на «чистых» и «нечистых». Почти никого из них уже нет на свете. Смерть уравнила всех, история рассудила. Написать докладную и составить список тех ста тридцати пяти погибающих от голода ссыльных, полагаю, побудила человечность. В конечном счете за смерть своих поднадзорных комендатура ответственности не несла. Всё можно было списать на войну. Тем более что умирали «социально опасные» и «социально вредные». А продовольственными ресурсами комендатура не располагала. Но слишком отчаянным стало положение – люди на глазах умирали от истощения...

На докладной записке начальника Васюганского РОВД в райком партии есть резолюция первого секретаря райкома: «Необходимо знать, где, сколько и на каких работах работают и также кто не работает (по какой причине) и куда их трудоустроить. Пусть в суточный срок такие материалы представят. Тропов». Выполнить за сутки это распоряжение было невозможно. Телефонной связи не было, радики имелись лишь в почтовых отделениях, каковых в протянувшемся на полтысячи километров Васюганском районе было лишь шесть, почту

на перекладных лошадях в отдаленные поселки везли несколько суток.. Вероятно, обследование, хоть и не столь скоро, провели, но хорошо помню: в 1944 году норму выдачи хлеба в районе не увеличили, а, вопреки ожиданиям, паек урезали. Я получал на день пятьсот граммов хлеба, стали продавать по четыреста.

Кстати, в упомянутой докладной количество умерших ссыльнопоселенцев в районе указано неверно. Умерло намного больше. Могу это утверждать, поскольку повеска спустя имел возможность выяснять участь ссыльных в архиве Информационного центра УВД Томской области, где сохранились картотека и «Дела» на высланные в Нарымский округ семьи из западных республик СССР<sup>103</sup>. Сличая данные этой картотеки с упомянутым списком находившихся на грани смерти ста тридцати пяти женщин, детей и стариков, я убедился, что к тому времени, когда список составляли, многих из них уже не было в живых.

Сведения от участковых комендантов в районную комендатуру поступали с опозданием. Карточки учета на каждую семью ссыльных завели в конце сороковых годов, когда начал вновь интенсивно раскручиваться маховик репрессий, и в карательных органах тогда были заведены многие десятки «Разыскных дел», в которых значились имена взрослых и детей, умерших в первые годы ссылки, но по-прежнему числившихся живыми. Уже сровнялись могильные холмики, под которыми они покоились, а их, потерянных комендантами и не списанных ими, взялись разыскивать, дабы «водворить на место первоначального спецпоселения». В 1949 году, когда я жил в Красноярске, приехавший в поселок районный комендант стал допытываться, где моя сестренка. Видимо, по их данным она еще числилась в живых. Сорок четыре года спустя мне выдали справку о ее реабилитации: «Материалы дела Макшеевой Светланы Николаевны 1936 года рождения по обвинению ее как члена семьи социально опасного элемента, высланной в 1941 году из Эстонской ССР в Томскую область, пересмотрены». Когда нас выслали, ей было пять лет, когда умерла – шесть... Дело по обвинению...

Свидетельства того времени – это воспоминания и тех, кто прошел через то страшное, но выжил. Воспоминания стариков, бывших тогда детьми. Осиротевших, погибавших от голода и выживших лишь благодаря тому, что оказались в детских домах. Пусть они здесь сами расскажут о том времени, о своих матерях, сестрах, братьях... О том, как всё было...

Из воспоминаний Дайны Шмудере-Геркис, высланной в 1941 г. из Латвии в Васюганский район:

«Когда кончился год, мы за свои пятьдесят шесть трудодней получили два килограмма гороховой муки. За связанные сети несколько раз нам давали хлопковый или льняной жмых. Льняной казалось очень вкусным! Когда удавалось что-нибудь продать или обменять, мы были очень счастливы. У нас не было посуды, кроме нашего большого чайника, в котором, когда нас выгнали из дома, мы взяли братику молока. За шерстяное одеяло выменяли эмалированную кастрюльку с отломанной ручкой и поллитровую кружку. За простыню, как и за золотое обручальное кольцо, давали два ведра картошки. Щи варили из соленой картофельной ботвы и речной водички. По утрам мама нам велела долго спать, чтобы мы не просили есть. Когда мы просыпались, она терла три картошки, заливала кипятком и следила, чтобы мы эту затируху пили медленно. Покупали сушеную картофельную кожуру, из которой на раскаленной поверхности плиты пекли лепешки. Из чешуи рыбной, если удавалось ее где-то выменять, варили холодец. Если была соль и еще чеснок, то это казалось королевским блюдом. Если доставали рыбные кости, их сушили, растирали и приправляли суп. Чаще всего вместо соли употребляли рыбный рассол. Мы ели горькие рыбные внутренности, которые оставались после снятия рыбьего жира. Сначала нам, новому контингенту, давали хлеб – взрослым 500 граммов, иждивенцам по 300 граммов, но постепенно норму урезали до 150 и 100 граммов. Сейчас не помню, когда хлеб перестали совсем давать, но помню, что, когда начали расти "пестники", хлеба уже не было.

Пестники мы собирали по только что оттаявшему полю – переживали, что их нет, а когда находили, то не было сил за ними нагнуться. Мама от голода опухала, иногда теряла сознание. Весной 1942 года я была настолько слаба, что, поднимаясь в гору с водой, оглядывалась назад, – казалось, что к ногам привязаны камни, не было силы их переставлять. Чтобы заработать хоть одну картошину, нанималась любому искать вишей в волосах.

Однажды ночью мама нас разбудила и сказала, чтобы мы простились с братиком. Ему было так плохо, что мама не надеялась, что он выживет до утра. Но он выжил. Мама в первую зиму продала купленные в Тевризе черные ботиночки и пальтишко, наверное, уже не надеялась на то, что братик доживет до весны.

С дровами было очень туго. Лес был не так уж близко, привезти их не на чем. Не было у нас ни пилы, ни топора. Всегда эти орудия труда приходилось просить. Потом и сил больше не было, чтобы заготовить дрова.

Мы старались вытащить из-под снега вмержшие с корнями выкорчеванные березки и тащили их по снегу домой. Мама этот хворост рубила и, когда хозяйка кончала топить, подкладывала в печку и варила нашу баланду. Мы часто вспоминали дрова, которые за несколько дней до 14 июня 1941-го были куплены и остались лежать посреди двора нашего дома в Риге. Мама вспоминала и деньги, которые были потрачены при покупке этих дров. Кто грелся тогда у той печки, в которой горели наши дрова?

К тому времени многие из наших переселенцев были уже похоронены на Маломуромском кладбище. Буквально через несколько дней после нашего приезда умерла четырнадцатилетняя Элга Лемберга, умерли Андрис Петерис, Ирена Лаздина, оставшаяся в Тевризе Арманда Кисе. Они все были сорокового года рождения. Живым из всех малышей остался только наш братик Айвис. У Кривошапкиных умерли мама и брат Володя. В четырехдетной семье Каркльни от голода умер десятилетний Оярс. Его хоронили летом 1942 года. Мама нам велела набрать таких цветков, которые растут у нас в Латвии. Я набрала полевые цветочки и вдруг обнаружила, что здешние цветы не пахнут. Оярсу могилу вырыли заранее, а когда мальчика без гроба спускали в могилу, там была вода и сидела жаба.

Помню один морозный вечер. Я шла от Кошелевых, которые мне одолжили пилу. За горизонт заходило солнце, красное-красное. Снег скрипел под ногами. Вдруг я поняла, что мама умирает и мы останемся одни. До того вечера я и в мыслях не допускала такую возможность. Я шла и плакала. Слезы замерзали на щеках.

Вечером мама мне сказала, что чувствует себя лучше. Мы все вместе порадовались этому. А утром следующего дня я проснулась оттого, что у мамы началась агония. На улице было еще темно. Вилма затопила плиту и куда-то ушла. Избушка освещалась от топящейся плиты. Мама лежала на топчане, тяжело дышала и смотрела мне в глаза. Я и сегодня помню этот взгляд – будто она всё понимает, но говорить уже нет смысла. Я кричала от горя, от растерянности, от бессилия. Братик лежал рядом с мамой, и я его посадила на печь к сестре.

Братику было два с половиной года, но он не ходил и не разговаривал. Но то, что он был живой, – было великое чудо. В этот



день сестренке было десять с половиной лет, а мне тринадцать с половиной.

Умершую маму я сама одела и по полу вытащила в сени. Там на скамейке была широкая доска, на которой двадцать дней назад лежала мама Дагмары. Теперь на доске лежала наша мама – холодная и безразличная к нам. Надо было ждать, пока в мерзлой, как камень, земле выдолбит могилу.

Могилу копал колхозный кузнец Снегирев – светлый человек, отец пятерых детей. Могилу он вырыл на совесть, глубокую и с нишей. В эту могилу постелил солому. Мы с сестрой на санках отвезли нашу маму на кладбище. Снегирев маму уложил в нишу и прикрыл нишу доской, чтобы мерзлые камни не падали на маму.

Через пару недель в мамину могилу хоронили маму маленького Андрейки, умершего еще осенью 1941 года, – Зинаиду Генгерис. Последнее время она была бездомной. За квартиру платить ей было нечем, и она ночевала где придется, кто пожалеет и пустит ее. В ту ночь она ночевала у порога на полу у смышлых из Черновиц. Как она на корточках сидела, так ее, холодную уже, утром и нашли.

Из маминой могилы выбрали часть мерзлых комьев земли и уложили там Зинаиду. На ней были белые теплые бурки. Хоронившие ее решили, что бурки Зинаиде не нужны, и стали их с нее снимать. Когда они увидели, что с застывших ног бурки не снимаются, они их разрезали и сняли. Это было последнее, что можно было у нее отнять.

Мы с сестрой на кладбище шли с наивным желанием еще раз увидеть маму.

Когда нас весной увозили в детский дом, мы ходили попрощаться с мамой. Земля под деревьями еще не совсем оттаяла, и вместо могилки было углубление. Наша мама осталась там, в той дальней глухой деревне, но я всю жизнь чувствую ее рядом с нами. Сорок шесть зим прошло с тех пор, но я и теперь часто плачу по ней. Я не плачу по нашей сиротской доле. Я плачу о доле матери, которая своей жизнью заплатила за жизнь своих детей.

Из воспоминаний Бируты Мильберг, высланной в 1941 г. из Латвии в Васюганский район:

«...Те, у кого было что-то из вещей, меняли их на продукты. Часто ради этого приходилось идти за несколько десятков километров в соседние деревни. Когда уже ничего не осталось, начался голод. В первую же зиму в деревне, куда мы были переселены, умерло несколько человек, привезенных из Латвии. Моя мама тоже ходила менять вещи на продукты и однажды

по дороге обморозила ноги. Ни обувь, ни одежда у нас не были пригодны для суровых морозов.

Помню, летом в колхозе сдохла овца. Ее облили керосином и закопали, но мама выкопала ее, сварила, и мы все ели это мясо. Чего мы только не ели – разную траву, полевой хвощ, гнилую картошку, картофельные очистки и даже лягушек. Мы ютились по разным избам, вместе с нами жили такие же, как наша, выселенные семьи. Одна за другой женщины умирали. Первой умерла Фрейволд. Пошла к проруби за водой, упала и не поднялась. С нами осталась ее восьмилетняя дочь. Затем умерла другая женщина, оставив троих детей. Моя мама была самая молодая среди остальных мам – ей было только 32 года. Она хотела спасти меня и мою сестренку, а тут у нее на руках осталось четверо сирот. И мама начала воровать. Она делала это преднамеренно – хотела попасть в лагерь, чтобы получать там паек (нам хлеба не давали), и надеялась, что нас и оставшихся с нами сирот возьмут в детский дом. Сначала мама заманивала к нам деревенских собак, которых мы съедали. Съели мы собаку, принадлежавшую коменданту. Как он, угрожая наганом, кричал на маму!

Весной четырех сирот увезли в Средне-Васюганский детдом, а мы уже жили в деттекурне, где, кроме нас, помещались еще две латышские семьи. Отсюда маму и направили в концлагерь – она добилась того, что задумала. Но нас с сестренкой сразу не увезли в детдом, мы ходили по избам и побирались. Так прошло недели две, и вот однажды паузок, на котором отвезли от нас маму, опять причалил к берегу, и нам удалось еще раз с ней увидеться... Оказалось, что этот паузок сначала отбуксировали в верховье, чтобы собрать там по деревням всех арестованных, и теперь речной катер ткнул его на буксире уже к Оби, откуда арестантов должны были этапировать дальше в концлагерь. За это время мама накопила нам кусочков хлеба и даже бутылочку молока, которую кто-то из осужденных отдал ей. Отрывая от себя, мама спасала нас...

А через какое-то время меня и сестренку увезли на пароходе в детский дом. Сердобольные женщины, видя, какие мы истощенные, кормили нас по дороге. В каком-то селе нас высадили с парохода и там, в комендатуре, отобрали альбом с семейными фотографиями, которые мы, несмотря на всё, сберегли. Как жестоко это было! Мы плакали: это было последнее, что оставалось на память о прошлой жизни...

О жизни в детском доме у меня остались мрачные воспоминания. Я сильно болела воспалением почек, вся отекала и

мочилась кровью. Почти год я находилась в изоляторе. Позже всё тело и даже голова покрылись гнойными нарывами. Когда я выздоровела, меня поселили в один из корпусов. Зимой эти корпуса плохо отапливались. Почти все дети мочились в постель, по одеялам ползали вши. Главной едой был гороховый суп, ложек не давали, и приходилось жижку выпивать... Старшие мальчишки отбирали хлеб у младших детей. До поздней осени детдомовцы ходили в школу босиком. Утрами лужи замерзали, идти было далеко, и, чтобы отогреть ноги, мы задерживались на крыльчках домов...»

Из воспоминаний Пээпа Варью, высланного в 1941 г. из Эстонии в Васюганский район:

«...Очень ясно помню, как на железнодорожной станции солдаты увели от нас отца. Почему-то все эстонские дети, попавшие потом в детдома, забыв много из того, что было до этого в детстве, навсегда запомнили, как уводили их отцов, которых им не суждено было больше увидеть. Сохранилась в моей памяти шеренга солдат с винтовками, оцепившая товарные вагоны, в которые нас погружали. Сам долгий путь по железной дороге в Сибирь забылся, но помню, как затем нас везли на барже по огромной реке; помню, как подчалились к какой-то пристани и длинная вереница ссыльных женщин передавала по цепочке из рук в руки на баржу буханки хлеба; помню ливень, когда после долгого пути нас высадили в Айполово на берегу Васюгана. Проливной дождь, измученные, промокшие до нитки люди, узлы и чемоданы на раскисшей от дождя глине... Последнее видение, когда все еще были живы, — мама и нас четверо, малолетних ребятишек.

Следующее воспоминание — клуб в Айполово, где тесно от расположившихся на полу женщин с детьми. Уже нет нашего маленького двухлетнего брата Пеара: он умер и зарыт в глинистой земле за поселком. Длинные дни, короткие северные ночи, плачут маленькие дети, гудят налетевшие с улицы комары...

Дальше в памяти провал. Помню уже поселок со странным названием Медвежий Чвор, куда нас привезли на поселение, и постоянное чувство голода. Мама уходила выменивать на продукты немногие привезенные из дому вещи, а мы тоскливо ждали ее в остывшей избе. Но скоро менять стало нечего, и один за другим стали уходить из жизни те, кто меня окружал. Сначала умер от голода мой брат Энн, затем мама. В последний вечер, когда она еще была с нами, к ней пришли такие же, как она, обессиленные от голода эстонки. Не знаю, о чем она разговаривала с ними; никогда не узнаю, что думала в свои

последние часы, оставляя трех сирот... А через какое-то время умерла моя сестра Эльз. Это было утром. Мы спали все рядом на полу, она пыталась встать, но не могла, приподнялась через силу, глубоко вздохнула и — скончалась... Последним умер родившийся уже в Сибири мой крохотный братик. Много лет спустя я узнал, что еще в декабре сорок первого в концлагере на Урале погиб наш отец. Так, меньше чем за год, из нашей семьи остался в живых только я.

Весной меня увезли в детский дом. Там я надолго заболел и только осенью стал понимать, что происходит вокруг. В детдоме были еще и другие осиротевшие ребятишки из Эстонии, с которыми я мог общаться на родном языке. Но однажды я обнаружил, что забыл свой язык. Много позже узнал, что нам запрещали разговаривать между собой по-эстонски...»

Из воспоминаний Ауне Круземент, высланной в 1941 г. из Эстонии в Васюганский район:

«...Мне было два года и семь месяцев, когда меня с матерью и шестилетней сестрой отправили в Сибирь. Помню избу, где мы вначале обитались на квартире, большую печку, которую надо было топить, но всё равно было холодно. У сестры там было свое отдельное место, где она спала, а мы с мамой спали вместе. Моя сестра там долго-долго болела, и мне запрещали к ней подходить. Потом жили где-то в другом месте, там было уже намного хуже и голодней. Еще помню, как обитались в каком-то сарае около большой дороги и ждали маму, которая ходила просить разрешения переехать в другой поселок. Это было весной, рядом было какое-то поле, и мы с сестрой ходили по нему искать прошлогоднюю картошку.

В поселке, куда перебрались, когда маме дали на это разрешение, поселились у молодой местной женщины, которая жила одна и ждала ребенка. Муж ее был на фронте. Мама ходила на работу, а в уплату за проживание должна была помогать хозяйке. Когда родился ребенок, мне разрешили качать колыбель. Но вскоре приходившая к хозяйке ее теща заметила, что наша мама становится всё слабей и не справляется со всеми работами. Она заставила ее пойти в медпункт к фельдшеру. Мама вернулась подавленной...

Хорошо помню этот день. Мне было уже пять лет, и я самостоятельно бродила по деревне, ища контакта с детьми. Но местные дети меня не признавали своей и называли фашистом. От голода я выпила молоко из бутылочки, которую оставил кто-то из местных ребятишек. Меня окружила враждебная ватага... Старшая сестра спасла меня от них, плачущую увела



домой и рассказала о болезни мамы. Сказала, что нам придется покинуть эту квартиру.

На следующий день, со своими сумками, мы ушли из этой деревни. Сестра была грустной – она опять не смогла закончить свой класс в школе... В пути мы часто отдыхали. Я думала, что останавливаемся из-за меня, и хотела идти быстрее, но сестра-умница, хотя и была еще ребенком, дала мне понять, что мама смертельно больна и не может быстро идти.

Последнее место, где мы жили с мамой, – какой-то сарай у большого дома. Вместо кровати была широкая дверь, на которой мы спали втроем. Там рядом с нами мама и умерла. Сейчас знаю, что это было летом 1944 года.

Такие же, как мы, высланные эстонцы похоронили маму. До кладбища было далеко, и нас туда не взяли. В день похорон одна русская женщина дала нам кусок хлеба и огурец. Это запомнилось мне на всю жизнь.

Вскоре нас отправили в детский дом. Помню – покидая деревню, мы беспокоились, что станет с капустой, которую посадили еще вместе с мамой.

В детдоме сестра находилась в старшей группе и ходила в школу. Я была в группе дошкольников, и сестра иногда приходила меня навещать. Сейчас я знаю, что она тогда уже болела и сил у нее было мало. Как-то раз, собирая в лесу ягоды, она отстала от других детдомовцев и осталась в лесу. Поздно вечером ее нашли там спящей.

Зимы были очень холодные. Нас, дошкольников, не выпускали на улицу – не было теплой одежды и обуви. Все пять лет, которые я провела в Сибири, зимой мне не удавалось выходить. Сестра моя переписывалась с тетями, которые оставались в Эстонии. Когда она приходила ко мне, то всегда говорила, что мы вернемся домой, и мы обе ждали этого дня.

Наконец осенью 1946 года нас привезли на пароходе в город, где были деревянные тротуары, а потом по железной дороге повезли в родную сторону. В вагоне было много эстонских детей и наша тетя, которая приехала в Томск за нами. В пути она много рассказывала о нашем родном доме, и мы всё сильнее хотели туда... Особенно стремилась туда сестра, которая хорошо помнила всё.

По прибытии в Таллинн нас помыли в бане. Потом вызвали врача, и он сразу отправил сестру в больницу.

Я увидела ее только через месяц у нас дома в амбаре, где она лежала в гробу, и не могла отвести глаз от ее маленькой, такой знакомой мне и дорогой руки. Хотела взять ее, хотя бы дотро-

нуться до нее. Подошла, прикоснулась и поняла, что у меня нет больше сестренки.

Через месяц мне исполнилось восемь лет<sup>104</sup>.

...В общей сложности из 1414 мужчин, женщин и детей, сосланных в 1941 году в Васюганский район, умерли во время войны более пятисот. В некоторых поселках погибли более половины ссыльных. В находившемся в ста километрах от районного центра Медвежьем Чворе, куда привезли из Эстонии семьдесят девять человек, скончались от голода сорок три. Некоторые семьи вымерли целиком: Лаанеметс – мать и трое детей, Куутмаа – мать и тоже три ребенка, Поросьевы – мать и оба сына... В семье Варью из пяти человек в живых остался шестилетний мальчик, в семье Смирновых из четырех человек – восьмилетняя девочка, в семье Майде – десятилетняя девочка, а мать, брат и сестренка скончались... То, что творилось в Медвежьем Чворе, происходило и в соседних поселках – Огневом Яре и Ершовке. И несомненно возникает аналогия с участю первых спецпереселенцев в начале тридцатых годов. Разумеется, масштабы разнятся – счет раскулаченными крестьянам тогда шел на миллионы, но и тех и других безжалостно перемалывали одни и те же жернова. Эти жернова стирали в лагерную пыль и отцов осиротевших детей. Из тридцати двух мужчин, семьи которых были в Медвежьем Чворе, двадцать восемь погибли в концлагерях Севераллага.

В Красноярке первой военной зимой умерло двое ссыльных с Буковины. На вторую зиму скончалось пятеро. Затем начался мор. Жившая тогда в Красноярке Маргит Феллер, пережившая после освобождения в Томск, однажды рассказала мне эпизод, характеризующий то, что происходило с привезенными туда людьми.

Как-то февральским днем она отправилась за околицу срубить сухостойную сосенку, чтобы истопить печь в избе, где обиталась с матерью и десятилетним братом. Отца уже не было на свете, мать болела, и все заботы легли на ее плечи. В том числе забота о дровах. Печь спасала от морозов, на ней варили скудную еду, на протопленной с вечера печи втроем спали. За сухостоем Маргит ходила к заснеженному болотцу, где был посохший на корню низкорослый карагайник. Принесенного хватало дважды истопить печь – «на два истопа», как говорили здешние деревенские. Притащить больше не было сил. Дорога за околицу вела мимо уже упомянутого мной барака-изолятора, куда прежде заводили больных чесоткой лошадей, а в сорок первом году поселили несколько семей новых ссыль-

ных. В тот день, возвращаясь со срубленной сушкой, Маргит увидела, что дверь в изолятор распахнута. Жило там около полтора десятков человек, на дворе стоял мороз... Бросив на снег свою ношу, она зашла в полутемное помещение, и перед ней предстала странная и одновременно жуткая картина. Укрытые затасканными одеялами, на нарах лежали изможденные люди, а в проходе между нарами, обнюхивая лежавших, ходил большой бык. Через дорогу от изолятора был денник для скота, оттуда бык сюда и забрел. Видимо, ни у кого из лежавших на нарах не было сил подняться и закрыть дверь, через зандевелый порог которой, выгоняя последнее тепло, белесым паром стлалась стужа. «Я была тоже слабой, но не настолько», – рассказывала Маргит. – Выгнала быка, закрыла плохо затворяющуюся дверь и затопила печь, возле которой лежала охапка припасенных кем-то дров. Вскипятила воды и стала разносить людям кипяток в кружках. Они тянули ко мне худые руки и благодарили... На крайних нарах у двери лежала женщина, лицо которой было чем-то накрыто, лежавший рядом с ней худенький мальчик сказал мне: «Моей маме уже ничего не надо, она мертвая...»»

...Многих умерших хоронили без гробов. Могилы зимой копали неглубокие – долбить ломами застывшую землю было непосильно. Если вскоре за похороненным умирал кто-то еще, раскапывали свежую могилу и клали туда второго покойника... Ближний фельдшерско-акушерский пункт находился в двадцати километрах, больным и обессиленным туда было не дойти. Да и незачем: у тамошнего фельдшера имелось единственное лекарство – хинин. И в сорок пятом году, когда я приехал в Красноярку, на всю округу был этот же фельдшерско-акушерский пункт, тот же фельдшер с забавной фамилией Скрипка, и от всех болезней он лечил тем же расфасованным в бумажные пакетики хинином.

Вспоминая сосланных в Красноярку евреев<sup>105</sup>, местные женщины неизменно упоминали некую Берту. Была она, с их слов, очень красивой: «Личико круглое, глаза большущи, пальцы тонюсеньки... По-русски разговаривать не умела, и всё здесь ей казалось чудно. По первости смеялась часто». Привезли Берту на поселение вместе с матерью, которую она пережила на полтора года. Свои нарядные платья, маркизетовые блузки и расклешенные юбки быстро обменяла на еду; сколько чего ей давали на обмен, с тем и соглашалась. А когда менять стало нечего, сразу сникла и ослабела. Умирала она в здешнем клубе. До войны зимними вечерами там собиралась

молодежь, но затем многие годы в опустевшем клубе было гулко и холодно. Висевший перед сценой занавес унесли на хранение в склад, а когда шестерым здешним парням нарочный привез повестки собираться на фронт, председатель колхоза велел занавес распороть и материю дать призывникам на рубахи. Чтобы ехали в армию в ненаоженных... Как и почему Берта перебралась в клуб – не знаю. Да я и не расспрашивал. Рассказывали, что поначалу она еще иногда выходила посидеть на ступеньках клубного крыльца, но окончательно обессилив, исхудавшая, страдающая, постелив под себя какую-то ветошь, лежала на сцене. Изредка кто-нибудь приносил ей поесть, но чаще заходили просто посмотреть, жива ли... Зимой она погибла бы в первые же сутки, но на дворе стояло лето. Говорила, что ее дядя – какой-то генерал, что он ее непременно отсюда вызволит... Ждала и мучительно долго умирала. Не хочу рассказывать о том, что сопутствовало смертям погибавших от голода людей. Мертвые срама не имут.

Смерть Берты была в те годы одной из многих, но почему-то отчетливо запомнилась здешним деревенским именно она. Быть может, потому, что умирала Берта долго и у всех на глазах. И после некоторые женщины, проходя вечером мимо пустого клуба, убystрали шаг – говорили, что временами в освещенные лунным светом окна там видна тень Берты... Много лет спустя в архивной картотеке Информационного центра Томского УВД я нашел скудные данные о ней: фамилия ее была Ламберг; когда она умерла, было ей двадцать восемь лет.

Возможно, из тех, привезенных в Красноярку, ссыльных мало кто вообще бы выжил, если бы со временем им не представилась возможность перебраться в районный центр. Впрочем, как и нескольким десяткам семей «западников» из других васюганских поселков. В конечном счете «новый контингент» для местных властей был рабочей силой, и там поняли, что эту силу надо использовать как-то более рационально. Маргит Феллер рассказывала, что однажды зимой сорок третьего в Красноярку из Нового Васюгана приехал какой-то начальник (в должностях навевывавшихся тогда в поселки разного рода уполномоченных ссыльные не разбирались – для них все, кто приезжал в гимнастерке, сталинке<sup>106</sup> и галифе, были начальниками) и велел председателю колхоза позвать «новый контингент» в колхозную контору. Те, кто смог, пришли, и приезжий начальник стал их спрашивать, у кого из них какая специальность. Сказал, что в Новом Васюгане создается промкомбинат для выпуска изделий местной промышленности и, воз-



можно, туда потребуются специалисты разных профессий... Дома многие имели свои небольшие магазины, кто-то был коммивояжером, кто-то – адвокатом, были фармацевты, банковские служащие, но всё это осталось в прошлом и никому здесь не было нужно. Высланные сюда женщины, живя ранее за границей, вообще не работали, а занимались дома семьей и детьми. Но, поняв, что появился шанс уехать в районный центр, где будут давать хоть какой-то паек, все стали называть специальности, каковые у них якобы имелись. Кто-то сказал, что он инженер, кто-то – что умеет выделывать меха, кто-то – что прежде был портным... Начальник всё это записал себе в тетрадку и уехал. Минула зима. Некоторых из тех, кого тогда вызывали в контору, уже не стало, но весной участковый комендант объявил фамилии тех, кто может уехать в Новый Васюган. Разумеется, если позволялось главе семьи, могла с ним уехать и вся семья...

Весной сорок пятого в Красноярске из тех ссыльных оставалась всего одна супружеская пара – муж с женой и их престарелые матери. Но и они задержались ненадолго. В декабре молодые, сложив на салазки свой скарб, подались пешком по зимнику в находившийся отсюда за сто восемьдесят километров Новый Васюган, а весной, когда вскрылась река, на первом шедшем в верховье пароходе уехали к ним и задержавшиеся здесь последние две старухи.

Через пару лет о сосланных сюда в сорок первом году семьях напоминали лишь зараставшие бурьяном бугорки могильной земли на краю погоста да уже изрядно поношенное, явно не советское платье на ком-нибудь из здешних девчонок. Одно такое – вишневого цвета, отороченное черным – платье носила шестнадцатилетняя Тонька Калинина, которая мыла в колхозной конторе пол, топила там зимами печь и была посыльной на случай, когда председателю либо приезжему начальству требовалось кого-нибудь позвать. Шустрой черноглазой Тоньке выменянное у Берты на ведро картошки платье было к лицу, но путной обуви у нее не было, и с весны до осени она ходила в нем, но обутая в чирки из сыромятины, а то и вовсе босиком.

А перебравшиеся в Новый Васюган ссыльные учились у первых подневольных переселенцев выделывать кожи и овчины, изготавливали бочки, кадки и шайки, выстругивали топорища, делали деревянные расчески. Какой-то рационализатор предложил мастерить из сломанных патефонных пластинок пуговицы, но опыт не удался. В швейной мастерской эстонки,

латышки и еврейки шили ватники и голицы, подростки в столярной мастерской делали столы, стулья и... гробы... Трудились не только на промкомбинате, но и в изготовлявшей кустарную продукцию местной промартели «Красный сибиряк», работали на спешно построенном во время войны рыбозаводе. Все они получали паек, гарантировавший полуголодную, но не дававшую угаснуть надежде жизнь. Однако большинство ссыльных оставались закрепленными в поселках. И большинство их погибло именно там.

Много лет всех высланных из Прибалтики, Бессарабии и с Буковины устойчиво именовали «новым контингентом», хотя в 1942 году подневольное население округа пополнилось очередными новыми спецпереселенцами, в данном случае – депортированными немцами. Впрочем, несколько сот немецких семей привезли обживать берега нарымских рек еще в начале тридцатых годов. Потомки немецких крестьян, переселившихся в девятнадцатом веке с юга России на хлеботорный Алтай, они во время коллективизации были раскулачены и отправлены строить «светлое будущее» в нарымской тайге. Как и высленные туда русские крестьяне, хоронили своих умерших от голода и болезни родных, корчевали тайгу, рубили избы, валили лес, работали в поле...

А в сентябре сорок первого года по Транссибирской магистрали в Сибирь и Казахстан пошли из-за Урала сотни эшелонов с немцами, депортированными с Поволжья. Тысячам из них предстояла дорога в Нарымский округ. В начале января 1942 года, когда большая часть западной территории СССР была оккупирована и страна практически лишилась продовольственных запасов, во все сибирские и дальневосточные комитеты партии, а также в отделы трудовых спецпоселений ГУЛАГа было отправлено из Москвы Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке». Это подписанное Сталиным постановление требовало увеличить вылов рыбы в сибирских реках по сравнению с 1941 годом втрое, а в 1943 году – в пять раз. Соответственно должна была возрасти рыбодобыча и на Дальнем Востоке. Для выполнения этого задания Народному комиссариату внутренних дел предписывали срочно переселить на прилегающие к сибирским и дальневосточным рекам территории тысячи спецпереселенцев. Народному комиссариату рыбной промышленности – в течение десяти дней организовать в Сибири и на Дальнем Востоке пять рыбопромышленных трестов, а Главное управление рыб-

ной промышленности Сибири создать в Новосибирске<sup>107</sup>. Характерные для того времени авральные сроки.

Предварительно с проектом постановления были ознакомлены в Наркомате внутренних дел СССР, о чем свидетельствуют сохранившиеся в Государственном архиве Российской Федерации письменные замечания к нему заместителя наркома внутренних дел Чернышова (видимо, сам нарком Берия был занят вопросами, связанными с положением дел на фронте). «Постановлением предполагается перевезти сорок одну тысячу переселенцев в районы низовий Оби, Лены, Енисея, Яны, Индигирки, Колымы и северной части озера Байкал, — писал Чернышов. — Исходя из наличия трудоспособных членов семьи — один, редко два человека, — то при среднем количестве семьи в 4 человека потребуется завезти в указанные районы 120 тысяч человек. Единственным контингентом спецпереселенцев, который можно вывезти, являются немцы, переселенные в Новосибирскую и Омскую области, Красноярский и Алтайский края и Казахскую ССР. Записанные в постановлении сроки — произвести переселение в низовья Оби и Нарымский край в первом квартале 1942 года, а в устье Лены, Яны, Индигирки и Колымы к 1 июня — совершенно невыполнимы: навигация в низовьях этих рек открывается в конце мая — начале июня, и переселение возможно будет закончить не ранее августа, т. е. практически к концу навигации и лова...»

Отправить часть депортированных немцев на Север, в частности в Нарымский округ, Чернышов предложил преимущественно из Казахстана, т. к., по его мнению, переселение их из южных районов Сибири нанесет ущерб посевной кампании, в которой они должны принять участие. «Вывоз немецспецпереселенцев из Казахской ССР будет целесообразней, хотя и дольше», — написал Чернышов. Изложил заместителю наркома внутренних дел и свое мнение относительно отправки депортированных немцев к озеру Байкал: «Считаю это совершенно нецелесообразным, т. к. Круго-Байкальская железная дорога является единственной дорогой, связывающей Дальний Восток с центральной частью Союза, и пребывание вблизи этой дороги спецпереселенцев-немцев крайне нежелательно»<sup>108</sup>.

Не знаю, как Сталин отреагировал на замечания Чернышова, касающиеся Байкала, но, скорей всего, спецпереселенцев-немцев туда не повезли, поскольку, как гласил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 года «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья», поводом

для их выселения было «пособничество германским шпионам и диверсантам». А от Байкала не столь далеко Япония... Зато Западная Сибирь удалена как от западных, так и от восточных границ. Тем более Нарымский округ, где (надо полагать, даже по мнению бдительных органов Комитета государственной безопасности) диверсантам и шпионам делать было нечего. Сотни семей поволжских немцев, которых поначалу поселили в «места отдаленные», но расположенные южнее, отправили в 1942 году на берега нарымских рек. Повезли туда ловить рыбу и трудиться в рыбной промышленности и тысячи немцев, незадолго до этого депортированных в Казахстан, откуда, по мнению заместителя наркома внутренних дел СССР, везти их на север «дольше, но целесообразней».

Что касается сроков доставки немцев на очередные места поселения, то климат никаким постановлением не подвластен, и в ожидании ледохода на сибирских реках сроки поневоле пришлось изменить. Первые баржи с депортированными с Поволжья немцами пришли в Нарымский округ по Оби в июле.

Завезли тогда туда 4698 немецких семей, в общей сложности 16107 человек. Из них 7067 трудоспособных, остальные — дети и старики. А в августе 1943 года окружной комитет ВКП(б) принял решение о переселении немцев и внутри округа<sup>109</sup>. Из районов, где не было рыбозаводов, решили переселить в районы, где таковые имелись<sup>110</sup>. Хотя, как вскоре выяснилось, дополнительно отправлять на работу в рыбную промышленность сотни немецких семей, привезенных сюда еще в начале тридцатых годов и за прошедшие десять лет обжившихся на месте (имевших свое жилье и огороды), необходимости не было — переселение состоялось. В Александровский район из Чаинского, Кривошеинского и Молчановского районов «перебросили» 250 семей, в Каргасокский — 100.

В Васюганском районе устроили переселение «внутрирайонное». Немцам, выселенным с Алтая в тридцатых годах в верховье Васюгана, где они тогда основали поселок, наименованный уже которой в Сибири Березовкой, было велено перебираться в Новый Васюган. В то время я работал на рыбозаводе. Помню, как пришли они зимой из той находившейся в полутора километрах от Нового Васюгана Березовки. Пообморозившиеся, в худой одежке, с салазками, на которых было сложено всё их имущество... Мужчин почти не было, в основном женщины и подростки. Помню даже некоторые их фамилии: Гиль, Ремпенинг, Герцен, Ульрих, Берц... Нескольких из тех немцев отправили в рыболовческие бригады



Гослова, большинство работали на строительстве и в подсобном хозяйстве.

Далее – выдержки из архивных документов, хранящихся в Центре документации новейшей истории Томской области, и короткие комментарии к ним.

Из протокола заседания бюро Нарымского окружкома ВКП(б) от 20 ноября 1943 года: «Из 7067 человек – трудоспособных переселенцев, прибывших в округ, принято на работу в рыбную промышленность и рыболовецкие колхозы 5099. Многие не обеспечены обувью и одеждой. На Усть-Чижанском рыбозаводе не выдавалась зарплата в течение четырех месяцев. На Нарымском рыбозаводе значительная часть переселенцев вынуждена ютиться где попало (под лодками, на паузках, между поленницами дров, в банях и т. д.). Нет дезокамер, антисанитария. Многие дети переселенцев, вследствие отсутствия одежды и обуви, не посещают школу... Бюро постановило потребовать от начальника окротдела НКВД тов. Карташова и начальника трудового поселения ОТСП тов. Вольнова ликвидировать негодный стиль в работе комендатур, ограничивающих свою деятельность лишь оперативным учетом контингента»<sup>111</sup>.

В свою очередь Карташов и Вольнов письменно обратились к подвергнутому их критике партийному руководству округа. В конечном счете власть принадлежала окружному комитету партии, и именно он мог как-то способствовать обеспечению привезенных сюда немцев жильем, одеждой и обувью.

Из спецсообщения начальника Нарымского окротдела НКВД капитана госбезопасности Карташова и начальника ОТСП Нарымского окротдела НКВД Вольнова секретарю Нарымского окружкома ВКП(б) Брызгалову о жилищных условиях спецпереселенцев-немцев в Кривошеинском и Молчановском районах (10 января 1944 года):

«...В Никольске в 300 м от поселка на болоте в землянках размещено 18 семей – 83 человека. Из них в землянке 16 кв. м проживает 4 семьи – 17 человек. В том числе 11 детей до двенадцатилетнего возраста. Землянка построена в октябре – ноябре, не просушена, в настоящее время мокрая, с потолка и стен течет вода... На полу снег, лед, так как двери сделаны из тонкого теса и в них продувает ветер. Окна очень малы, в землянках совершенно темно... В пос. Белый Бугор в отдалении от поселка на берегу старицы построена одна землянка, в которой живут 6 семей – 26 человек. В том числе 18 детей

до десятилетнего возраста. Пола деревянного нет, окон нет, печь развалилась.

Против пос. Красный Яр на острове в бараке живут 8 семей – 24 человека. Из них – 13 детей дошкольного возраста. Барак не отремонтирован, кругом – щели, куда проникнет снег; плита развалилась, дым выходит в барак. Около рыбпункта и барака бани нет, а в Красный Яр в баню идти не в чем, все люди грязные, в бараке масса клопов и вшей. В ноябре в пос. Карнаухова рыбозаводом был выстроен полуземляной барак, т. е. свех земли было еще нарублено три ряда леса, внутри он оплетен плетнем, но не замазан. Накрыт барак горбылем, печи сделаны из мерзлого дерна, а вместо плиты – ржавая жель, вся в дырах. Барак примерно 21 м длины и 4 м ширины, в нем всего три окна, размером 50 x 20 см, застекленных бумагой.

Подобное положение в Молчановском районе. Здесь построили дома для себя лично директор рыбозавода, его два заместителя, председатель рыбокооп и другие, а для спецпереселенцев до глубокой осени ни одного дома не построили, в результате, когда пошел снег, для них начали строить землянки на берегу Оби. Землянки сырые, холодные, с потолка беспрерывно течет вода... Все землянки строились в низких, затопляемых местах на берегах рек и стариц. С открытием рек, безусловно, они будут затоплены и размыты... Все спецпереселенцы совершенно обносились, не имеют ни одежды, ни обуви, поэтому большая часть их не может работать вне помещения. В большинстве случаев это привело к тому, что в настоящее время ни одна организация не принимает их на работу. Большая часть семей находится в катастрофическом положении. В пос. Федоровка проживают Янцен Елена Яновна 1912 года рождения (имеет на иждивении двух детей 1935 и 1939 гг. рождения) и Тоберт Ольга Яковлевна, имеющая тоже двух детей – 1934 и 1937 гг. рождения. Дети не имеют обуви и одежды, сидят нагие. Матери их на работу устроиться не могут, т. к. не имеют одежды. Поэтому продуктов не получают, а своих овощей никаких у них нет. В квартире окна забиты досками или заткнуты тряпьем, дверь не закрывается. В последних числах ноября у Янцен от истощения умер ребенок, похоронить она его не могла, т. к. не имеет обуви, чтобы пойти выкопать могилу и сделать гроб. Несмотря на неоднократные просьбы к председателю колхоза Аксененко оказать помощь в похоронах ребенка, он оказал помощь только на четвертый день. Труп ребенка лежал в сенях четверо суток, и ноги трупа объе-

ли крысы. Обе эти семьи питаются только за счет того, что ходят нищенствуют по селу, обертывая одного кого-нибудь члена семьи в тряпки...

Большинство немцев, не имея теплой одежды и обуви для работы на дворе, а также вследствие отсутствия мастерских для изготовления орудий лова, числятся надомниками и никаких продуктов, кроме 200 граммов хлеба, не получают. Помимо вышензложенного, спецпереселенцы уже более полугода не получают соли<sup>112</sup>.

Из спецсообщения районного коменданта Колпашевской комендатуры Ухарева Нарымскому окружному комитету ВКП(б) (1 февраля 1944 года): «Расселенный контингент немцев средств существования в пос. Н.-Павловка Колпашевского района не имеет. В результате имеется ряд немцев, которые обречены на голодную смерть... Установлено три случая смертности от истощения и голода»<sup>113</sup>.

15 марта 1944 года о катастрофическом положении привезенных в Нарымский округ немцев секретарю окружного комитета ВКП(б) Брызгалову сообщает начальник окротдела НКГБ капитан госбезопасности Островляничик: «В Кривошеинском районе среди немцев, переселенных с Поволжья, имеются случаи смертности и заболевания от истощения. В течение января и февраля 1944 года в районе умерло 20 человек. Например, в селе Никольево умерли Штопаль Богдан и его жена, а двое нетрудоспособных детей Штопаль опухли от голода. В дер. Тугулино имеют место случаи, когда переселенные немцы употребляют в пищу павших животных»<sup>114</sup>.

Вскоре положение депортированных с Поволжья в Нарымский округ немцев еще более усугубилось.

Из спецсообщения начальника Нарымского окротдела НКВД капитана госбезопасности Карташова и начальника ОТСП Нарымского окротдела НКВД Вольнова секретарю Нарымского окружного комитета ВКП(б) Брызгалову (15 апреля 1944 года): «В связи с уменьшением плана рыбодобычи в 1944 году по Новосибирскому госрыбтресту и сокращением лимита по труду, рыбозаводы в феврале – марте 1944 г. произвели массовое сокращение рабочей силы. Главным образом спецпереселенцев-немцев, и в первую очередь многосемейных, инвалидов и не имеющих одежды и обуви. По Каргасокскому району уволено 105 семей – 341 человек. Все уволенные были немедленно сняты со снабжения, как рабочие, так и их иждивенцы и дети... Колхозы, не имея излишков хлебных запасов, от приема такой рабочей силы отказались. В Па-

рабельском районе уволено 114 семей – 488 человек. Из них 153 человека не трудоустроены. Выявлены два случая смертности от истощения – спецпереселенек Шмидт Эмилии 1919 г. и Эберт Лидии 1919 г. рождения. По Колпашевскому району уволено 307 семей – 920 человек. Из них трудоустроено 322. Уволенный с работы контингент одновременно был снят со снабжения... В пос. Петропавловка ряд немцев питались отбросами. Лидия Кошпа, Елизавета Вольстер в феврале умерли от истощения»<sup>115</sup>.

10 мая 1944 года в Нарымский окружной комитет ВКП(б) пришло указание из Новосибирска: «В связи с тем, что предприятия рыбной промышленности Нарымского округа за последнее время производят массовое увольнение спецпереселенцев-немцев, которые находятся в тяжелом материальном положении, обком ВКП(б) решил переселить в Новосибирск 400 семей спецпереселенцев-немцев для работы в оборонной промышленности. Производство переселения возложено на Нарымский окротдел НКВД. Секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) Семин»<sup>116</sup>.

«Давно уже спосрванная Обь и таежный Васюган обрушили берега, на которых стояли построенные в 1942 году близко к воде нарымские рыбозаводы. Кануло в Лету то, что тогда было. Ушли в небытие упомянутые в ныне рассекреченных спецсообщениях умершие от истощения молодые немки и такие же, как они, но безымянные, погибавшие в сырых землянках для «развития рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири». Где-то в глинистой поберекной земле их умершие от голода дети, где-то там и тот мальчик, чей застывший трупик лежал четыре дня в сених и у которого погрызли ноги крысы...



## III

Руководители округа неустанно докладывали Новосибирскому обкому ВКП(б) о «трудовых победах и величественном размахе успешного освоения Севера». В свою очередь Новосибирский обком рапортовал об этом в Москву «дорогому и горячо любимому». То, что тысячи и тысячи людей «удобрили» нарымскую землю трупами, считалось само собой разумеющимся, и, дабы выполнить задания партии «по увеличению, убыстрению и развитию», местные власти просили пополнять население округа новыми партиями спецпереселенцев. В апреле 1943 года, когда в Васюганском районе ежедневно умирали от голода привезенные на спецпоселение женщины и дети (в весенние месяцы смертность истощенных людей бывала особенно велика), на заседании бюро Васюганского райкома ВКП(б) обсуждали вопрос «О вселении в район населения». «В существующих колхозах не используются богатейшие возможности района, — записано в протоколе того заседания. — В целях быстреего освоения района и дальнейшего развития сельского хозяйства, лесотехнических и рыбных промыслов, просить Нарымский окружком ВКП(б) предусмотреть вселение в район в 1943 году в существующие колхозы 700 семей (из них в колхозы коренного сектора — 200 семей и в колхозы трудпоселенческого сектора — 500). В 1944 году организовать в районе не менее 16 поселков и заселить в них 800 семей»<sup>117</sup>.

В свою очередь секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) Кулагин информировал Центральный комитет ВКП(б): «Дальнейшее заселение Нарымского округа является, по существу, главным вопросом, от решения которого зависят темпы его дальнейшего развития. Новосибирский обком ВКП(б) считает, что для более широкого использования сырьевых запасов малоосвоенных районов Нарыма необходимо в 1944 году переселить в округ не менее 70–80 тысяч человек. Это количест-

во населения округ может принять в порядке доприселения в существующие сельскохозяйственные, рыболовецкие и промысловые колхозы, без значительного нового жилищного строительства»<sup>118</sup>. Писал это Кулагин в 1944 году, когда в Нарымском округе тысячи спецпереселенцев-немцев, привезенных туда «для более широкого использования сырьевых запасов», остались без работы и были сняты со снабжения. Сколько же землянок и могил предстояло выкопать еще для 70–80 тысяч «доприселяемых», которые должны были обеспечить рост темпов дальнейшего развития округа?

Судя по всему, речь тогда шла о калмыках, которых в 1944 году депортировали из упраздненной Калмыцкой АССР, о чем заранее были уведомлены сибирские крайкомы и обкомы ВКП(б) и, само собой, отделы трудовых спецпоселений ГУЛАГа. Более девяноста тысяч калмыков выселили в Сибирь<sup>119</sup>, однако в Нарымский округ, несмотря на заявку о «доприселении», их не отправили. «Богатейшие возможности» для калмыков нашлись в другом месте, и в округе не появились ссыльными население округа пять лет спустя, но об этом позже, а пока вернуться к жизни в военное время, в частности как жили тогда в Красноярске.

Свояченица моя, которую я уже упоминал, к сожалению ныне покойная Евдокия Дмитриевна Беспрозванная, рассказывала:

«...Жили под гнетом. Война, а еще спецц к тому же. Запутаны были, начальников боялись, пуще всего — финагентов. Приедет и начинает в контору вызывать... А то целая бригада наедет — прокурор, начальник милиции... Налоги большеушни, а где деньги взять? Ведь, считай, задаром работали; когда, верно, за тебя колхоз сколько-то уплатит налогу, так ведь и у колхоза денег не было: всё, что выращивали, — урожай, скотину — всё в поставку бесплатно сдавали. В отчетный год начнут вычитывать не сколь кому получить, а сколь должен остался. Тягучку финагент вызовет, страшает, страшает... А где он денег возьмет? Посидит в конторе на лавке у двери и домой воротится. Бледный, трясется. Он же смиренный был, никому супротив слова сказать не мог. Только воротится — следом опять посыльная, сызнова вызывают. Скажет мамоньке: "Ступай ты, Анна". — "Нет, ты ступай..." Всё одно кому-то идти надо. Судили за налог, срок давали. Которые бабы на всю зиму бросали ребятшек, уезжали на лесозаготовки, чтобы на налог заработать. Я на лесозаготовках зимой мужицкую работу выполняла,

возчиком была, сутунки из делян вываживала. Как-то приходит из дому письмо, тяточки уже в живых не было, мамонька печатными буквами пишет: "Описали за налог самовар, постель и картошку в подполе. Ежели пятьсот рублей не пришлешь – всё отберут". У меня заработанных двести рублей было, да и те долго не отдавали. Пошла к мастеру Христом-богом просить. Пожалел: "Ступай на сплотку – там больше заработок". Пошла на плотбище лесины накатывать, ромжины заламывать. Жилы вытягивала, того и гляди, всё внутри оборвется, кисти у рук пообморозила, кожа полопалась. Выслала маме пятьсот. А то бы картошку из подполя выгребли – ложись и помирай! Где же оно теперь, здоровье, будет, коли оно там всё отдалено? Зимами – в лесу, с весны до осени – в рыболовецкой бригаде... Помню, как-то раз весной на обласке из рощажей с ливы на Васюган выплыла, а там вал у-у-у какой страшный! Сплошной белик – того и гляди, перевернет. А впереди из воды топырчина выдалась, я наискосок вала обласок направляю, да оплошала – наехала на эту топырчину. Крутит меня вал, захлестывает в обласок, вот ни вот погибель... Нюра Петрова, соседка наша, как-то в половодье эдак же утонула... А меня, видно, родительское благословение спасло – снесло обласок стрежью. Домой приехала – бьет дрожь, отогреться на печи не успела – в контору вызывают, – прокурор приехал. Как он на меня кулаком стучал, аж чернильница на столешнице прискакивала: "План не выполняете, а ты с лова приехала! Судить будем! Судить!" Рыба в тот год плохо ловилась, мало сдавали. Хоть че делай – не ловилась! Уж как он страдал, как стучал кулаком! А уполномоченный, бывало, придет к нам на рыбалку, перво-наперво палкой золу в кострище ворошит – нет ли там рыбных костей; всю рыбу велено было сдавать, себе нельзя варить... Батюшки, че только начальство над нами делало, как изголялось..."

Далее опять несколько выдержек из архивных документов, характеризующих то время. Другой язык, другая констатация...

Из протокола заседания бюро Нарымского окружкома ВКП(б) от 16 июня 1944 года с повесткой «О работе партийной организации Чаинского района по выполнению обязательств, данных в новогоднем рапорте товарищу Сталину»: «Чаинский райком ВКП(б) и его первый секретарь Бровкин не сделали необходимых выводов из предупреждений девятого пленума окружного комитета ВКП(б) об особых условиях Нарымского округа, характерных наличием большого количества бывших кулаков и адм. ссыльных, что требует от районного

комитета ВКП(б), от каждого коммуниста неослабной политической бдительности»<sup>120</sup>.

Из протокола заседания Васюганского райкома ВКП(б) от 22 сентября 1944 года: «Несмотря на неоднократные указания со стороны райкома ВКП(б) и райисполкома, колхозы Средне-Васюганского сельсовета преступно срывают план выполнения хлебопоставок. Наличие саботажа со стороны председателей колхозов, оппортунизм и потворство саботажникам... объясняющим провал хлебозаготовок исключительно сырой погодой, привели к тому, что план хлебопоставок на 20 сентября выполнен всего на 30 процентов. Председателя колхоза им. Коминтерна Кумумова за саботаж хлебозаготовок предать суду. Предупредить председателей остальных колхозов, что если они не выполнят план хлебосдачи в установленные сроки, то будут привлечены к судебной ответственности как за саботаж»<sup>121</sup>.

Из протокола заседания бюро Васюганского райкома ВКП(б) от 25 октября 1944 года: «План мобилизации по налоговым платежам третьего квартала ни одним сельсоветом не выполнен. Командировать в каждый сельсовет товарищей из партактива»<sup>122</sup>.

Колхозники подразделяли наезжавших в колхозы по одному, а иногда скопом «товарищей из партактива» не по должностям, которых зачастую не знали, а по цели приезда: «по посевной», «по покосу», «по уборочной», «по поставкам», «по займу», «по налогу»... И если судить по хранящимся в архивах протоколам заседаний бюро окружкома и райкомов ВКП(б), а также по информации и докладным периодически навывавшихся в колхозы «товарищей из партактива», то पुце всех радели за страну не те, кто тогда босником пахал и сеял, кто зимами, по пояс в снегу, валил лес, надрываясь накатывал сутунки на сани, не те, кто на морозном ветру долбил пешней метровый лед для прогонки невода, – а радели за страну те, кто понужал этих работавших на износ полутолодных мужиков и баб, те, кто подгонял их, строжился над ними и разъяснял им доклады товарища Сталина. Не говорю, что у всех тогдашних больших и малых начальников не было сердца, – жестокими их делала система. Чтобы уцелеть на своих постах и «оправдать доверие» тех, кто стоял над ними, они подгоняли, «стращали судом», а подчас и отдавали под суд тех, кто был на самом низу этой давящей пирамиды, – колхозников-спецов и колхозников из т. н. коренного сектора, которых спецы именовали «вольными», но, по существу, бывших такими же бесправ-



ными, как и они. Много лет спустя мне доводилось встречаться с некоторыми из тех, кто приезжал в колхозы привлекать, нажимать и требовать, и все они теперь рассказывали, как самоотверженно работали те, кого они подгоняли, стращали и у кого отбирали последнее... А ныне уже немощные старики и старухи, которых тогда приезжие начальники подчас называли саботажниками и лодырями, у которых за то, что не отработали минимум трудодней, грозились урезать огороды, вспоминая то время, вдохнувшись, говорили: «Может, иначе нельзя было? Бог им судья...» И всякий раз, возвращаясь к тому прошлому, вспоминали военное лихолетье; вспоминали, как ждали окончания войны, вольного хлеба и послабления в жизни. И я томительно ждал конца войны, ждал воли. Должно же на смену ожесточенно приняти милосердия! Должны смягчиться сердца после той войны! После того, что перенесли все те, кто остался жив... «Ныне отпускаешь раба твоего...» Навивно думал: кончится война, и мне можно будет отсюда уехать. Ехать было некуда, возвращаться не к кому, но всё равно уеду...

И вот настала весна сорок пятого. Была ликующая радость Победы, была светлая радость долгожданной мирной жизни. Но весна сорок пятого не стала весной милосердия. Проходили дни, месяцы, и таяла надежда. Всё оставалось таким же, как во время войны: «спецы», «кулаки», «новый контингент»... По-прежнему каждый месяц надо было отмечаться у поселкового коменданта, чтобы он знал, что я не сбежал и не умер, по-прежнему не было вольного хлеба – всё-всё так же, как и в минувшие четыре года. Осенью я написал заявление в Москву на имя Берии. Наверное, тысячи людей\*тогда писали ему в надежде освободиться. Из концлагерей, из мест, куда были сосланы... И я просил о том же. Написал, что, когда меня привезли на Васюган, мне не было и пятнадцати лет, из всей нашей семьи в живых остался я один, в ссылке пятый год... Месяца через три зимой в Красноярку наведёлся районный комендант. Впустив с улицы стелющийся через порог колхозной конторы морозный пар, скинул черненый тулуп и, пройдя к столу, за которым я проверял ведомости начисленных бригадиром трудодней, опустился рядом на вышарканную лавку. Председатель колхоза сидел в сторонке у окна (за стол он садился лишь во время собраний). Коротко поинтересовавшись у него, как колхоз готовится к посевной, комендант положил на стол армейский планшет, какие обычно коменданты прицепляли к перехлестывавшим гимнастерки портупеям, и посмотрел на меня тяжелым, затянтым взглядом:

– Писал заявление об освобождении?

– Писал, – ответил я дрогнувшим голосом.

– В заявлении отказано. – Он подвинул ко мне по столешнице повернутый лицевой стороной вниз листок бумаги. – Распишись.

За окном запряженный в кошеву конь поматывал головой, пытаюсь освободиться от коновязи, к которой был примотан повод наборной уздечки. В конторе в такт судорожно дергающемуся маятнику громко тикали ходики... В висках застучало.

– Почему отказано?

– Давай расписывайся! – Придерживая указательным пальцем продолговатый листок бумаги, комендант подвинул его ближе. – Вот тут, внизу.

Я обмакнул перо в чернильницу и расписался. После еще несколько раз писал в Москву, но не Берии, а просто в МГБ. И уже почти привычно расписывался в том, что поставлен в известность об очередном отказе. Но в тот раз было невыносимо больно...

И всё же что-то стало меняться в жизни ссыльных. Начали снимать с учета комендатуры раскулаченных крестьян – сначала тех, кто был награжден за доблестный труд в Великой Отечественной войне, затем остальных. Однако и теперь, уже бывшие спецы, они так же, как и прежде, не могли куда-либо уехать – паспортов им не давали, а куда без документов? Пыталась уехать из Красноярки двадцатидвухлетняя Прасковья Калининна, брата которой взяли на фронт. Он после войны подался на жительство в родное Прииртышье, откуда в тридцать первом году была выслана их семья. Если бы после демобилизации он заехал за сестрой, мог бы тогда забрать ее с собой, как увозили отсюда родню другие фронтовики, но, потому как этого не случилось, через какое-то время Прасковья вознамерилась поехать к нему сама. Девка была разбитная, «рисковая». Ушла с узелочком в соседнюю Муромку, села там на шедший в низовье пароход и – прощай постылая Красноярка!.. Но кто-то сказал председателю колхоза, что Прасковья сбежала, и он тотчас послал нарочного в Тевриз, чтобы оттуда из сельсовета сообщили по рации в Средний Васюган, что надо задержать беглянку. На коне ехать рысью до Тевриза два часа, пароходу плыть по речным плесам до Среднего Васюгана – десять. Когда пароход там причалил, Прасковью уже ждал милиционер. Поднялся на палубу: «Документ есть?» – «Нету...» – «Сходи на берег!» И вернули Прасковью обратно. А какое было право ее задерживать? С учета комендатуры снята,

хотела уехать к брату... Да только вот «без бумажки ты букашка». Начальство о доприселении населения ходатайствует, а трудоспособная девка сбежать надумала... Кто будет обеспечивать рост темпов дальнейшего развития Севера? Ну а ссыльные с запада, по-прежнему будучи под надзором комендатуры, оставались тем более закрепощенными. Исключение на второй год после войны ГУЛАГ сделал для сирот, часть которых, разгружая переполненные детские дома, разрешил отправлять к согласным их принять жившим на воле родственникам. В числе тех, кто смог тогда вернуться на родину в Эстонию, был Пезн Варью, воспоминания которого я приводил выше.

«...Когда в детдом стали приносить после войны почту, я вместе со всеми бежал к воспитательнице, надеясь, что получу от кого-нибудь письмо, – писал далее Варью. – Но со временем мне стало ясно, что ждать не от кого, и, когда раздавали письма, я молча забивался куда-нибудь подальше от всех... Но как-то одно из принесенных в детдом писем никто не признавал своим, и воспитательница оклинула меня... Я и сейчас будто вижу этот исписанный с двух сторон крупными русскими буквами лист бумаги. Вместе с ним был вложен конверт с маркой и обратным адресом. Это письмо открыло мне дверь в мир, к которому я принадлежал. Оно было от маминной сестры, тети Ванды, которая уже полтора года меня разыскивала. Ее знакомая сообщила ей, что все дети Эрики умерли, но один мальчик должен быть где-то в детдоме. Наверное, поиск был долгим потому, что мое имя было искажено: меня почему-то переименовали в Типсуса. «Дорогой Типсус, – писала тетья, – помнишь ли ты, что твое имя Пезн? Тебя так звали, когда ты был совсем маленьким... Постараюсь выхлопотать тебя сюда, домой...» Я сразу взялся писать тете ответ. Это было первое в моей жизни письмо. Счастливое – потому что кто-то меня ищет, но очень грустное – потому что я писал о смерти своей мамы, сестры и братьев. А в конце августа я уже ехал в теплушке с такими же, как я, детдомовцами, которых кто-то нашел и теперь ждал. В нашем вагоне везли около тридцати детей. Были эвакуированные из Москвы и Ленинграда, но в основном – высланные в сорок первом году из Эстонии и Латвии. В Сибирь нас тогда везли с матерями, теперь возвращались – без них... Сопровождала нас приехавшая из Эстонии за своими двумя племянницами женщина, которая не знала ни слова по-русски. А я и еще две девочки-эстонки из Тогурского детдома, в который отправляли самых маленьких сирот, были в вагоне самыми младшими, уже забывшими родной язык. Я слушал,

как разговаривают между собой старшие эстонские ребятишки, и вдруг понял одно-единственное слово: «juust» (сыр)... Везли нас по железной дороге почти две недели. Первая остановка в Эстонии была в городе Тапа: вокзал там был неподалеку от рынка, и местные женщины, узнав, кто мы, натащили нам всяческой еды. Было это очень кстати, потому что провизия у нас уже кончилась. В Таллине нас поместили в приемник-распределитель для несовершеннолетних, и там первым делом сводили в баню, где всем выдали по кусочку дезинфекционного мыла – помыть головы от вшей. Через два дня за мной с хутора, где жила наше семья до высылки, приехала тетья Ванда. Она оплатила расходы за мой проезд из Сибири (660 рублей), и ей дали справку, что я ею взят на временное воспитание. Домой на хутор в Вызу мы с ней приехали на грузовике уже в сумерках. До этого я не ощущал, что вернулся на родину, – всё было для меня новым и не пробуждало никаких воспоминаний. Но когда я оказался дома, стало всплывать из глубины памяти, казалось, уже навсегда в ней утонувшее. Обежал все комнаты, начал спрашивать тетю, почему некоторые предметы не там, где они были, когда я тут жил... Наверное, это рассеяло последние теткины сомнения в том, что этот русский мальчик – ее племянник Пезн, которого увезли отсюда на подводе вместе с родителями, сестрой и братьями 14 июня сорок первого года. А я увидел на отцовском столе обрамленные рамочками фотографии всех тех, кто тогда еще были живы, – моя зачерствевшая детдомовская душа окончательно оттаяла, и я заплакал... В тот вечер после ужина я спросил тетю Ванду, есть ли у нас еда и на завтра. Тетушку потряс этот вопрос, и она помнила его до конца своей жизни».

«Я осиротел, когда мне уже было шестнадцать лет, и потому не попал в детдом. И в Эстонию я не вернулся. На склоне лет поехал проведать места, где прошла самая светлая и счастливая пора моей жизни. В рабочем поселке, где ранним утром сорок первого громкий стук в уличную дверь поделит мою жизнь на то, что было до этого утра, и то, что стало после, сошел с поезда и пошел в сторону улицы, на которой когда-то жил с родителями и сестренкой. Но уже не было той улицы, не было дома, в котором осталось мое и короткое сестренкино детство, снесли другие такие же, стоявшие тогда рядом заводские дома – был пустырь, пронизывающий ветер и щемящая сердце боль... Невозможно вернуться в прошлое. За годы, что прошли с тех пор, как страшным июньским утром я, выйдя из калитки, обернулся посмотреть на закрытую дверь дома, не ве-



дая, что уже никогда не переступлю его порог, было в моей жизни много горестного, но и радостное тоже было. Только это была другая, совсем-совсем другая жизнь.

В начале октября сорок седьмого года верховой нарочный из Тевриза привез мне и троим моим одногодкам повестки: явиться завтра в сельсовет и далее следовать в райвоенкомат; быть там десятого числа в исправной одежде и обуви, иметь при себе пару сменного белья, кружку и ложку. Трое получивших повестки ребят были сыновьями раскулаченных крестьян, каковых во время войны стали брать в армию, но такие, как я, до сих пор призыву не подлежали. Новый контингент – «социально опасные»... Я решил, что насчет меня где-то ошиблись. Ну а вдруг не спохватятся? Уеду с Васюгана, отслужу в армии, затем где-нибудь определюсь. Буду работать и учиться. Только бы не было опять войны...

Осень в том году выдалась долгой и ведренной. К началу октября обмолотили на токах весь хлеб, засуху выкопали колхозную картошку и уже заканчивали копать ее на своих огородах. Река с лета обмелела; ходивший по Васюгану пароход, вероятно, возил пассажиров и груз по другим рекам, а может быть, уже ушел на зимовку в затон. Добираться в Новый Васюган надо было на лодке. Путь предстоял долгий – двести пятьдесят с лишним километров. В колхозе имелись две большие лодки, одну из которых председатель скрепя сердце дал нам, строго приказав: когда прибудем в райцентр, отдать ее под расписку, а расписку выслать в колхоз. Матери ребят, с которыми мне предстояло ехать, проводили их на берегу; у меня не было никого, но хозяйка, у которой я квартировал, напекла мне на дорогу шанезек (из муки пополам с тертой картошкой) и тоже пришла проводить. Тянуть бечевой большую лодку встречь течению легче, чем грести на воду веслами. Тянули по очереди: пока кто-нибудь из нас, впрягшись в лямку, шел по обмелевшему приплеску, а другой на корме рулил веслом, двое отдыхали; когда приплесок сходил на нет, шедший с бечевой перебирался в лодку, и от выдымавшегося берега мы переваливали к противоположному, пологому, где впрягались в лямку тот, кому выпадала очередь тянуть. Кому-то доставался долгий плес, кому-то покороче... Заплывали на сыром песке следы босых ног, журчала под бортом отражавшая осенние облака темная васюганская вода, маячила надежда...

В Тевриз притянулись к вечеру, переночевали на полу в чьей-то избе и наутро, как было предписано, пошли в сельсовет. На этом моя дорога в армию и закончилась. Председа-

тель сельсовета забрал у меня повестку и сказал, чтобы я возвращался в Красноярку.

– Почему? – спросил я.

– А кто будет за тебя работать в колхозе? – ответил он вопросом на вопрос.

Ребята потянули лодку дальше в верховье, а я – с фанерным чемоданом, с которым отправился было служить Отечеству в армии, – подался пешком обратно.

Посуху дорога от Тевриза в Красноярку была вдвое ближе, чем по реке. Сначала в гору полями, затем семь-восемь километров по таежной просеке до согры, по которой была проложена гать к мосту через речку Пеноровку, дальше опять увалом по зараставшей осинником просеке, которая снова выводила на колхозные поля, откуда уже рукой подать до поселка. Мост через Пеноровку был на полпути, и, дойдя до него, я устало опустился отдохнуть на его дощатый настил. Внизу, омывая лиственные свай, речка неслышно несла непроглядную воду к близкому отсюда Васюгану; пожухлую осоку по сторонам гати усеивала рябь облетевшей с болотных березок листвы, и на фоне ее неяркой желтизны голубели бледные ягодки обнажившегося голубичника. Вдали, на кромке веретия, рдели багрянцем осины, в небе над распростершейся согрой стояли редкие облачка, прозрачный воздух был напоен прохладными влажными запахами... Отодвинулась куда-то недавняя обида, и наедине с этой тихой, умиротворяющей природой я положил голову на фанерный чемодан и заснул под усыпляющие шорохи и шепот уходящей осени. Пробудился от чьих-то голосов. Рядом со мной на мосту стояли две красноярские девчонки. Когда два года назад меня прислали в Красноярку, они работали в колхозе, теперь обе были кадровыми работницами леспрохоза. Отпросились у своего начальника на три дня помочь копать матерям картошку и теперь возвращались на лесоучасток.

– Шибко напугал ты нас, когда увидели, что кто-то на мосту лежит, – сказала одна из них улыбаясь. – Ты почему здесь?

Смутившись, я поднялся.

– Вернули меня... Остальных отправили, а меня обратно.

– Ну и хорошо, что вернули, – как-то по-женски ласково сказала та, что была повыше ростом. – А то уже совсем ребят не осталось.

– Что, у вас на лесоучастке парней нет? – спросил я.

– Есть... Только не наши.

– Айда, Шура, пошли, – дернула ее за рукав подруга. – Иначе дотемна не дойдем.

Хотелось побыть с ними, но им предстояло еще без малого двадцать километров пути. Я остался на мосту, а девчонки, спустившись с него, пошли по гати к увалу, за которым смыкалось с кромкой тайги осеннее небо. В перетянутых поясками платяшках, кирзовых сапогах, с котомками за плечами. Милые деревенские «кулачки»... Я смотрел им вслед, и вдруг, словно почувствовав на себе мой взгляд, одна из них обернулась... Мог ли я тогда знать, что не пройдет трех лет и она станет моей женой, что проживем мы вместе пятьдесят один год... И уже незадолго перед смертью однажды она спросит меня: «Помнишь, как мы с тобой повстречались на мосту? Тогда, давно-давно? Помнишь?»

Очевидно, исследование, каковым я обозначил жанр того, о чем вознамерился поведать, предполагает несколько иную форму изложения. Но, рассказывая о чем-то бывшем со мной и моими близкими, приводя воспоминания своих прошедших через ссылку сверстников, мне легче воссоздать атмосферу времени, в котором довелось жить и им и мне. Воспоминания – это прошлое, видящееся через призму прожитых лет. Что-то будет помниться до скончания дней, что-то с годами из памяти изглаживается. Много было в моей жизни невыносимо тяжелого, но и счастливое тоже было. Не говорю о лучшей поре – своем детстве, но и в годы молодости бывало светлое. Вот всплыла в памяти та давняя встреча на мосту через таежную речку, обернувшаяся тогда на меня девчонка – и озарился теплым светом миг канувшего в Лету прошлого...

А четыре месяца спустя, проездом из райцентра куда-то в низовье, остановился в Красноярске дать отдых коню военком и вручил мне военный билет. Всё как положено: фамилия, имя, отчество, год и место рождения... Рядовой, годный, необученный. Значит, равный со своими сверстниками. Я побоялся тогда спросить, почему мне дали военный билет, – вдруг опять обнаружится, что я спецпереселенец из нового контингента, – и отберут...

Отобрали его у меня, когда я был уже женат, родилась у нас дочка и жили мы не в Красноярске, а в соседней Муромке, ставшей к тому времени центральной усадьбой укрупненного колхоза, куда присоединили и нашу Красноярку. Именовался укрупненный колхоз почему-то «Магнитостроем».

В тот день, придя с работы, я взялся поправлять городьбу возле дома. Разобрал два прясла, вбил новые сосновые колья и, скрепив их внизу таловыми прутьями, стал укладывать нижний ряд жердей. Солнце в небе стояло еще высоко; возле кры-

лечка, отгоняя ронившуюся мошкарку, курился из прохуdivше-гося чугуника дымок; за рекой на чьей-то блудливой коровенке изредка позвякивало ботало. На душе был покой. Кто-то окликнул меня. Занятый делом, я не видел, как к находившейся через улицу от нашего дома колхозной конторе подъехал верхом поселковый комендант и, примотнув к коновязи повод уздечки нерасседланного коня, теперь стоял на конторском крыльце, сжимая пальцами узкий ремешок португиси.

– Слышь! Айда сюда! – еще раз окликнул он меня.

Я уже привык к тому, что каждый начальник, приехав в Красноярку, требует, чтобы я подал ему список колхозников, показал сводку, сколько гектаров вспахано, сколько выкошено, сколько чего сдано в госпоставку... В ночь, в полночь ли... Ополоснув руки под прибитым к стояку крыльечка рукомошкой, я нехотя пошел в контору. Поселковый, не сняв в помещении фуражку, сидел у окна. Вынув из лежавшего на столе планшета какую-то бумагу, коротко глянул на нее и сунул обратно в планшет.

– Городишь?

Я кивнул.

– Ага.

Он посмотрел в окно на своего беспокойно стоявшего у коновязи коня и перевел взгляд на меня:

– Принеси-ка свое удостоверение и заодно военный билет.

Сердце у меня екнуло. Удостоверение о том, что я состою под гласным надзором и ограничен в правах передвижения, он у меня давно не спрашивал. Да в последнее время и появлялся в поселке редко. А сейчас еще и военный билет потребовал... Я-то полагал, что он не знает, что у меня есть таковой.

Сходяв домой, достал из обитого полосками жести сундука хранившиеся там вместе с облигациями и квитанциями об уплате налога комендатурское удостоверение, военный билет и, вернувшись в контору, положил затребованное поселковому на стол. Черкнув на обороте удостоверения горбатого-витиеватую подпись, он подвинул эту бумажку мне обратно, затем подлистал военный билет и сунул его себе в планшет.

– А вот это я у тебя изымаю.

Застучало в висках.

– Почему? – спросил я вдруг охришим голосом.

– Есть предписание.

Значит, я опять перестал быть рядовым, годным...

– Насовсем?



– Не знаю... – В глазах у поселкового промелькнуло что-то вроде сочувствия. – У всех ваших отбирают... Чтобы, значит, никаких военных билетов, ясное море.

Это у него было такое присловье: «ясное море».

– Зачем он тебя вызывал? – спросила дома жена, укачивая в зыбке нашу дочурку.

– Отобрал военный билет.

И снова я болезненно ощутил свою униженность. Будто в чем-то виноват перед ней и перед лежавшей в зыбке крохой...

Не стал бы сейчас здесь обо всем этом рассказывать, если бы в начале девяностых годов, когда рухнуло то, что многие годы казалось незбылемым, мне не представилась возможность увидеть свое хранящееся в архиве Томского УВД «Дело», из которого неожиданно для себя узнал то, что тогда было связано с этим билетом.

Желтеющие от времени, тщательно пронумерованные страницы, которые должны храниться вечно. Вечная память... Первая страница – меморандум на арест отца: «Макшеев Николай Александрович, год рождения 1896-й, место рождения – Полтава... Является офицером белой армии, участвовал в боях на юге СССР против Красной Армии. В 1923 году приехал в Эстонию. С 1920 по 1922 г. проживал в Турции и Франции... Служил в царской армии у генерала Брусилова, от которого имеет отличия: Станислава III степ., Владимира IV степ., Анны IV степ». Следующий лист – постановление об аресте отца, в котором определена и участь семьи: жену – Макшееву Ольгу Федоровну, сына – Макшеева Вадима Николаевича, дочь – Светлану Николаевну – выслать в отдаленную местность СССР. Далее – запросы вышестоящих органов МВД нижестоящим об имеющихся на меня компроматах в связи с заявлениями, которые я писал, прося меня освободить. В ответах повторяется одно и то же: отец Макшеева В. Н. – бывший офицер белой армии, арестован в июне 1941 года, умер по месту заключения в Севураллаге в ноябре 1941 года... Его сын, Макшеев Вадим Николаевич, в июне 1941 года выслан из пределов Эстонской ССР как социально опасный элемент в Томскую область, где проживает в поселке Красноярка Васюганского района. И раз за разом один и тот же вердикт: «С получением сего объявить спецпереселенцу Макшееву В. Н., что заявление его рассмотрено и в освобождении из ссылки ему отказано».

И вдруг то неожиданное: ответ Васюганского райотдела МВД управлению МГБ по Томской области: «При этом направляю ваш запрос № 4193/6 от 14 мая 1948 г. без исполнения, в

связи с тем что Макшеев В. Н., проживающий в пос. Красноярка нашего района, с учета спецкомендатуры снят и последнему выдан Васюганским РО МВД паспорт на право выезда из пределов нашего района...» Но никто меня в известность о том, что я снят с учета спецкомендатуры, тогда не ставил! И паспорта я не получал! И всё же, очевидно, военный билет дали мне потому, что с учета спецкомендатуры в ту пору я был снят. Мог бы уехать, и вся моя дальнейшая жизнь могла сложиться иначе. Даже если бы сразу не уехал, всё равно не было бы того гнетущего ощущения закрепощенности, которое надо мной довлело. Но о том, что какое-то время я тогда был вольным, я узнал лишь более сорока лет спустя. Могу предположить, что такие же, как я, привезенные на Васюган мои сверстники были тогда без их ведома откреплены от комендатуры, а когда на рубеже сороковых и пятидесятых годов снова стал раскручиваться приостановившийся на время маховик репрессий, опять поставлены на спецучет.

Тогда, четыре года спустя после окончания войны, органы МВД начали разыскивать и возвращать на места ссылки сирот-детдомовцев, которых взяли к себе их жившие в западных республиках СССР родственники. И хотя, несмотря на заведенные на этих ребятешек розыскные дела, не всех их удалось найти, тех, кого обнаружили, повезли обратно в Сибирь. Этапом по той же дороге, по которой их когда-то везли туда с матерями... Всё на круги своя...

Одновременно в Томскую область, куда вошел упраздненный в конце войны Нарымский округ, стали поступать по этапу партии и ссыльных из прибалтийских республик, где началась массовая коллективизация и сопутствовавшие ей раскулачивание и ссылка в Сибирь. По постановлению Совета министров СССР отправляли их в ссылку на вечное поселение<sup>123</sup>, и, в отличие от уже находившихся здесь спецпереселенцев и ссыльнопоселенцев, очередные невольные сибиряки были наименованы «выселенцами». В апреле 1949 года на железнодорожную станцию в Томск один за другим прибыло тринадцать эшелонов, в которых привезли 15430 ссыльных из Латвии и Литвы. По сообщению сопровождавших их медицинских работников, за время пути из вагонов было вынесено 38 трупов<sup>124</sup>. Более полутора тысяч человек по прибытии оказались больными, из которых 177 – инфекционными заболеваниями: дизентерией, скарлатиной, дифтерией, туберкулезом... Сорок пять из них умерли после прибытия в течение первых двух недель<sup>125</sup>. До вскрытия рек, по которым ссыльных

предстояло везти дальше на север, большую часть их разместили в бараках (в некоторых из них не было печек и даже нар), остальных поместили в тюремные камеры. «Общим для всех мест временного расселения, кроме разве тюрьмы, является непомерная скученность, которая приводит к тому, что часть выселенцев вынуждена находиться на открытом воздухе, так же как и их вещи», – докладывал Томскому обкому заведующий облздравотделом<sup>126</sup>.

А маховик репрессий набирал обороты. В мае на железнодорожную станцию Томск-2 пришел эшелон с девятьюстами выселенцами с Западной Украины; через месяц прибыли четыре эшелона, доставившие 4663 выселенца с Кавказа. В общей сложности в 1949 году на территорию Томской области, в основном в северные районы бывшего Нарымского округа, привезли на спецпоселение более двадцати тысяч человек. Большую часть из них расселяли по поселкам, где им предстояло трудиться в колхозах. Хотя шел уже четвертый послевоенный год, колхозники, как и во время войны, работали почти задаром, поскольку без малого всю сельскохозяйственную продукцию надлежало практически бесплатно сдавать в госпоставку. Для распределения по трудодням оставалась лишь малая толика зерна, а из мизерного денежного дохода колхоза, который к тому же облагался налогом, колхозникам доставались гроши. В Государственном архиве Томской области сохранилась информация Кривошеинского райотдела МВД Томскому областному управлению МВД об оплате труда в колхозах Кривошеинского района, где работали выселенцы<sup>127</sup>. В пяти колхозах (из двадцати одного) в 1949 году на трудодень досталось от одного рубля до рубля десяти копеек, в шести колхозах – от 50 до 80 копеек, в остальных хозяйствах – меньше полтинника. В колхозе имени Свердлова за трудодень смогли начислить лишь по 11 копеек, в колхозе имени Островского – 10 копеек, в колхозе «МОПР» – 2 копейки, в колхозах «Красная звезда» и «Большевик» денег для оплаты работы вообще не было. Зерна в колхозах Кривошеинского района в 1949 году выдали на трудодень в среднем немногим более семисот граммов. Примерно такая же стоимость трудодня была во всех колхозах Томской области. Я уже упоминал, что изобретенный на заре коллективизации в качестве некой условной единицы труда колхозников «трудодень» начислялся бригадирами не за рабочий день, а за выполненную норму выработки. Не каждый колхозник, тем более колхозница, был в состоянии эту норму выполнить. А основная тяжесть работ

была на плечах великих и безответных тружениц – деревенских женщин. Большинство из них остались без мужей, и достававшиеся им тяжелым трудом семьсот граммов зерна нужно было делить с детьми... Выручала только картошка с огородов. А у новых ссыльных, также состоявших в основном из женщин и детей, огородов не было. Правда, уже появился в продаже вольный хлеб, но не у всех выселенцев имелись деньги, да и торговля хлебом была ограничена – в некоторых поселках его выселенцам вообще отказывались продавать, поскольку не было предусмотрено для них фондов, а установленный лимит продажи хлеба обеспечивал потребность только местного населения<sup>128</sup>.

В Васюганский район в 1949 году привезли на спецпоселение 1280 выселенцев с Кавказа. По документам МВД значились они турками<sup>129</sup>, но были среди них и лазы, абхазы, азербайджанцы... О том, что привезут новых ссыльных, известили председателей васюганских колхозов заранее. Откуда привезут – сказано не было, дали только наказ готовить помещения... В Красноярску вселяли десять семей. Потому как взвоз с реки здесь уже несколько лет как обрушился, здешнему председателю, Арсению Васильевичу, приказали прибыть за новыми спецнами в находившуюся от нас в трех километрах Муромку, где был причал. Когда запряг он коня, велел ехать и мне – мол, может, потребуется оформлять какие-нибудь документы. Телянок родился – надо по акту приходовать, а тут люди. Затряслись мы на телеге по муромской дороге, загромыхали позади еще две порожние подводы (люди будут с вещами – не на себе же понесут!). А в Муромке тамошние деревенские уже пришли на яр поглядеть на новых спецнов. В поле отсеялись, картошку в огородах посадили – выдался до покоса передых в работе. Председатель муромского колхоза тоже на берегу. И из соседней Сталинки, куда тоже десять семей новых спецнов комендатура определила на поселение, председатель колхоза прибыл с подводами. А поселковый комендант накануне приплыл на обласке из Тевриза. Встал впереди всех – в военной гимнастерке, широких галифе, сапоги хромовые до блеска начищены... Катер еще где-то плесов за пять от поселка бубнит, а кажется, будто рядом. Медленно, в упор идет на воду. Председателя по две самокрутки выкурили, томительно ждать... И вот он показался из-за поворота – тяжело тянет баржу с народом. Тесно на палубе: женщины в долгих платьях низко, по самые брови, повязаны темными платками, чернявые мужчины, черноголовые ребяташи, седоусые старики... На-



тужно стуча, катер стал подворачивать к яру, тянущаяся за ним баржа послушно пошла следом, и, накатываясь, зашестелели по приплеску затухавшие волны. Приткнулся к причалу буксирный катер, подчалилась баржа – и по двоянному трапу гуськом, один за другим, начали сходить на глинистый берег те, кого определили сюда на поселение.

– Каличь!.. – промолвил, глядя на них, Арсений Васильевич. – Зимой мереть станут, как евреи.

Видно, вспомнил, как несколько лет назад помирали в Красноярске ссыльные с Западной Буковины..

«Каличь» тянула по прогибавшимся сходящим мешки со скарбом, медные тазы, узкогорлые затасканные одеяла.. Немощного старика, державшего на плече насаженный на длинное топориче топор, сводил за руку оборванный мальчишка; грузный мужчина в распахнутой рубахе, сойдя на берег, скинул с плеча большой полосатый куль – вязка куля развязалась, и на затоптанную глину высыпались желтые зерна кукурузы.. Гортанные голоса, чужая речь, неведомое этим людям будущее..

Помню имена многих из них: Мамед, Осман, Ахмет, Мевлюд, Нури, Сашни, Гульсар.. И такие же непривычные для русского слуха фамилии: Буюк-оглы, Чан-оглы, Чулак-оглы, Бешир-оглы, Каджая, Гогитидзе, Дурсуниши.. Все, кому местом жительства комендатура определила Красноярку; были высланы из Абхазии. Многие семьи были смешанными: муж – турок, жена – абхазка; муж – лаз, жена – турчанка.. Крови, очевидно, во многих из них было всякой разной, но для здешних деревенских все они были турками. Как, впрочем, и для комендатуры. Были среди этих ссыльных турецкоподданные, были и такие, которые гражданства вообще не имели. В некоторых семьях были лишь женщины с детьми, у некоторых мужчин жены остались на Кавказе. Привезли много стариков, привезли одинокую слабоумную старуху Адицу. Немощную, жалкую, побирающуюся по избам. Большинство, хоть и с акцентом, говорили по-русски, некоторые знали лишь самые необходимые слова: «хлеб», «деньги», «картошка».. Однако быстро научились тоже нужным: «комендант», «справка».. Расселили новых ссыльных по пустым избам – были уже в поселке к тому времени брошенные дома. Потемневшие от непогоды, с подгнившими нижними венцами, но всё же какое-никакое жильё. Одноstopную избенку за зараставшим лопухами и тальником логом председатель колхоза определил троим одиноким старикам – Саигу, Висору и Хасану. Печь в избе есть, дров себе втроем за-

готовят, воды с реки принесут; а начнут помирать – так, поди, не враз: приглядят друг за дружкой.

Но, вопреки председательским опасениям, в Красноярке почти все ссыльные с Кавказа пережили зиму, не умерла даже побиравшаяся Адица. Скончались лишь два самых дряхлых старца. Спасала новых ссыльных привезенная ими из дому кукуруза (кто привез ее мешок, а кто и два). Мололи на ручных жерновах, варили затируху. Те, у кого были деньги, покупали у здешних деревенских картошку, да и муку в здешней лавке тоже можно было купить. Ведь был на дворе не страшный сорок второй, а сорок девятый год. Весной турки занимали огороды, и Саиг, Висор и Хасан надумали посадить кукурузу. Видно, не всю, привезенную из Абхазии, смололи, сберегли пару пригоршней на семена. Видел я, как усердно мотыжили они комковатый суглинок между потянувшимися к нарымскому небу доселе невиданными здесь ростками, видел на стариковских лицах истовость и грусть. Оживали, наверное, в их памяти горные селения, теплая земля, высокое кавказское небо.. Но уже первые сентябрьские заморозки опалили стужей нездешние растения, и, не дав початков, кукуруза погибла. Выкопали в поле картошку, легла зима, а сухие, с бледно-желтыми листьями стебли торчали на заснеженной чистине возле избенки за логом как ненужные вешки.

– Не получилось, дорогой, не получилось.. Зачем тохали? Тут не Кавказ, тут Сибирь. Сибирь-мибирь..

В колхозную контору старики приходили часто. Еще крепкий Саиг, слабосильный Висор, жалкий Хасан.. Усаживались на стоявшую вдоль стены лавку, доставали кисеты, угощали меня присланным им из дому турецким табаком.

– Скажи, дорогой, зачем привезли сюда? Кому делали плохо? Жизни мало осталось.. Зачем?

Как-то в один из майских дней Хасан пришел в контору один. Сев на привычное место, вздыхал как-то особенно тяжело. Чувствовалось, что хочет что-то сказать, но я был занят, да и не хотелось разговаривать. Когда вскрывалась река и распаивалась с яра даль половодья и окаймленного на горизонте дымкой весеннего неба, меня всегда сильнее тянуло отсюда. Наверное, и Хасану было особенно тоскливо.

– Слушай, дорогой, – решился он наконец, – напиши мне заявление.. Домой хочу, свой родина – Очамчирский район, село Мокви. Там моя жена Юльвиаз.. Что я плохой делал? Ты хороший человек, напиши Берии.

Я покачал головой:

– Бесплезно...

В его глазах была тоска. Наверное, он и сам не надеялся... Ну а вдруг... Вдруг Берия прочтет заявление, вызовет к себе начальника поменьше и скажет: «Хасан Чаблах-оглы не виноват – отпустите его в село Мокви. Ему плохо в Сибири». А вдруг... Я вырвал лист из амбарной книги. Страницы в ней были разграфлены – «приход/расход»... Может, все ссыльные вписаны в такие книги. Моя мама и сестренка записаны в «расход» – они умерли. И тысячи других умерших тоже списаны. Приход-расход... Я написал Хасану заявление. Пусть у него будет маленькая надежда, с ней легче жить. Но я по себе знал, что ему ответят и что скажут. Через три месяца комендант прочел Хасану: «Нет оснований...»

– Растишись... Всё. Иди работай.

Сегодня, оглядываясь на прошлое, удивляешься тому, как стремительно пролетела жизнь. Но тогда время тянулось невыносимо медленно. Минуло два томительно долгих года, и я снова написал Хасану заявление. Всё о том же – чтобы освободили. Совсем он стал плох – осунулся, сторбился... И еще больше печали было в его стариковских глазах.

– Написал – здоровье плохой, сердце болит? – спросил он, когда я закончил писать.

Я кивнул. Хотя кому какое там, в Москве, дело до его сердца.

– Спасибо, дорогой. – Он благодарно посмотрел на меня. – Тебе посылка пришло, самый хороший кавказский вино.

– Не надо, – сказал я. – Дай-ка лучше закурить. Хорошо, если бы тебя отпустили.

Только я был уверен: не отпустят! Сколько я писал заявления таким, как он... В косых лучах солнечного света, падавших сквозь оконное – с мазками от давленных комаров – стеклю, расходился табачный дым самокруток, и, казалось, с ним смешивается сизый дымок из трубки Сталина, с усмешкой куда-то глядевшего поверх нас из портретной дымки. Ответа Хасану не было необычно долго. Прошло лето, за ним осень, а он всё ждал. Человек всегда чего-то ждет: в молодости – с надеждой, в старости – с тревогой. В ссылке ждешь освобождения. Ждешь, что вырвешься из этой жизни и окажешься в иной, которая в твоей памяти связана с прошлым. Понимаешь, что на воле всё изменилось, и сам стал другим, знаешь, что прошлого не вернуть, – но только бы освободили, лишь бы дали справку... В декабре поселковый комендант, приехав из Тевриза, привез Хасану ответ: «По распоряжению МВД СССР (< >) вы с учета спецпоселений сняты...» Хасану дали справку, и дрожащей рукой он

расписался в том, что стал вольным. Но как было ему выбраться отсюда в зимнее время? Это некоторые наши русские старики, когда их после войны сняли с учета комендатуры и отпустило из колхоза общее собрание, подались в свои родные места зимою. С котомкой за спиной, пешком от деревни до деревни... А старики Семеновы, отпущенные еще из Красноярки, потрудили домашний скарб на сани, запрягли свою приученную возить дрова комолую коровенку и, опираясь на бодажки, побрели за ней тем же трудным путем. Но куда Хасану пешком по зимней дороге? Ему и десяти километров за день было не пройти, а от иной деревни до следующей все тридцать. И до первой железнодорожной станции без малого тысяча... Надо было дожидаться весны, чтобы уехать на пароходе до Оби, там пересест на другой пароход, доплыть до Томска и дальше уже поездом. Далеко-далеко, к Черному морю...

Он приходил в контору, обнажая седую стриженую голову, снимал ушанку, садился возле моего стола и доставал кнisset.

– Кури, дорогой, турецкий табак... Самый хороший.

И хотя был уже вольным, по-прежнему вздыхал:

– Слушай, когда весна? Когда пароход? Сердце болит.

В конце февраля вместе с председателем колхоза я уехал в райцентр с годовым отчетом. Двое суток на лошадке туда, двое обратно, неделю на месте, пока в райзо проверяли и принимали отчет. А когда вернулся, узнал, что Хасан помер. Как с вечера уснул, так и не проснулся. Позвали фельдшерницу, она сказала: «Сердце». Легкая смерть...

Могила ему копали Сант и Висор. Земля промерзла глубоко – в Сибири она зимой глубоко промерзает...

А к Висору весной первым пароходом приехала с Кавказа жена Мария с двумя детьми. Русская, родом откуда-то с Кубани, бойкая, внешне она мало чем отличалась от здешних баб – подеревенски повязывалась платочком, ходила в ситцевом платье, кирзовых сапожничках. И была намного моложе мужа. Старшему сынишке шел двенадцатый год, второй был на два года младше, и в деревне дивились, что у Висора такие малые ребятишки. Был он с виду стар, лоб обезображивала доходящая до брови вмятина, и от этой старой травмы маяла его надлучая болезнь. Однажды, привезя на телеге в зерносушилку кули с зерном, я видел, как его било припадком и работавший вместе с ним Сант с трудом сдерживал его худое, дергающееся тело. В сушилке тепло пахло горячей рожью, сквозь приоткрытую дверь проникал яркий свет благодатной осени, а в полумраке на глинобитном полу корчился и хрипел Висор. За-



тем обмяк, затих и долго лежал недвижимый. После смерти Хасана они с Сантом остались в своей избенке вдвоем, но, когда к Висору приехала жена, Сант ушел жить в другую избу. Может, и остался бы, но Мария стала работать в колхозе свинаркой, а он, правоверный мусульманин, не переносил запах свинарника. Но прожила Мария в поселке лишь одно лето и последним уходящим в низовье парходом уехала с ребятишками обратно. Показалось, наверное, ей тут тяжело – худая избенка, комары, глушь, беспросветность. А может, и Висор сказал, чтобы уезжала: лучше мучиться одному, чем всей семьей. Она-то ведь вольная... Провожая на берегу, всё гладил черноволосую головушку младшенького, видно, любил его больше, тяжелей было с ним расставаться. После отъезда семьи припадки стали у него чаще, Сант вернулся к нему и снова оберегал его, чтобы Висор не расшибся, не откусил себе в беспомощности язык...

Некоторые выселенцы с Кавказа обзавелись на Васюгане семьями. Брала в жены своих землячек, но были и такие, которые женились на здешних русских. Вышла замуж за абхаза Лизавета Карючина, сестра Прасковьи Калининой, той самой, что пыталась тайком уехать из Красноярска и которую милиционер вернул обратно. Лизавета была старше Прасковьи на четыре года, уже выходила замуж, но прожила с мужем недолго – в сорок втором году его взяли на фронт, там он погиб, а она, овдовевшая, осталась с малолетним сынишкой. Сошлась с Азизом на второй год, как привезли сюда кавказских выселенцев, а когда после смерти Сталина им разрешили возвратиться домой, Азиз увез ее к себе в Абхазию, и там она родила ему трех дочерей. А в Тевризе вышла замуж за абхаза Шура Кийс. По полному – Александру Сергеевну, но в поселках по имени-отчеству величали стариков и старух, а к женщинам молодым и среднего возраста обращались по именам. Родилась она в России, откуда после революции ее родители вместе с ней эмигрировали в Латвию. Там выросла, вышла замуж, родилась дочка. А в сорок первом году во время массовой акции НКВД в Прибалтике ее мужа арестовали, и вскоре он погиб в Севураллаге, а ее с пятилетней Марианной, вместе с тысячами таких же, как они, «социально опасных», отправили на спецпоселение в Сибирь. Местом жительства определили поселок Тевриз, где несколько месяцев спустя ее дочурка умерла. Работала Шура в колхозе на разных работах, а когда на второй год после войны умер тамошний счетовод, ей предложили вести в колхозе учет. Среди первых спецпереселенцев достаточно гра-

мотных для этого в Тевризе не было. В свое время Шура окончила в Риге гимназию, но, естественно, познаний в бухгалтерии у нее не было, а я уже работал счетоводом, и потому она несколько раз приезжала в Красноярску, и я, как мог, ей помогал. В Тевризе она организовала кружок самодеятельности, вечерами после работы проводила репетиции спектаклей, в которых сама участвовала. Видимо, это отвлекало ее от тягостных мыслей. Радио в поселках тогда не было, громоздкий батарейный радиоприемник появился в Красноярске только в сорок восьмом году, но в колхозной конторе был патефон, к которому имелось несколько довоенных пластинок и с десятком патефонных иголок, которые приходилось затачивать наждачным бруском. Когда Шура приезжала в Красноярску, обычно напоследок, отложив в сторону бухгалтерские книги, просила меня завести патефон и, пригорюнившись, слушала медленное танго, торжественный марш из «Аиды», романсы в исполнении Козловского... Постукивала на треснутой пластинке сточенная иглолка, лилась мелодия, и по грустным Шуриным глазам было видно, что она мысленно где-то далеко-далеко отсюда...

Миловидная, изящная, была она старше Меджида, с которым сошлась то ли по любви, то ли от безысходности, мало у них было чего-то общего. Когда, освободившись, уехала с ним в Абхазию, было ей уже за сорок. Наверное, полагала, что после смерти дочери не будет у нее больше детей, но родила сына и, думаю, обрела в этом счастье. Сегодня ее уже нет в живых, как нет и вышедшей замуж за абхаза Лизаветы. Не знаю судьбы их детей. У них своя жизнь, и всё, что было когда-то с их русскими матерями, наверное, для них далекое и не очень им понятное. Дай Бог, чтобы в их жизни не было даже чего-то похожего.

Но вернусь к рубежу сороковых и пятидесятых годов, когда в Нарымский округ, и в частности в Васюганский район, резко возрос приток ссыльных. Вновь приведу выдержки из хранящихся в Центре документации новейшей истории Томской области архивных документов, в какой-то степени характеризующих обстановку тех лет.

Из выступления на отчетно-выборном собрании Васюганской партийной организации начальника РО МГБ Шмыгаева 28 января 1949 года: «...Мы с вами живем в окружении антисоветского элемента, этот элемент всячески старается подорвать развитие колхозного строя, распространяет всевозможные клеветнические слухи на нашу Коммунистическую партию и Советское правительство. Призываю вас быть бди-

тельными, сохранять государственную и военную тайну, разоблачать шпионов, диверсантов и их пособников – болтунов, ротозеев, разгильдяев. Очистить свои аппараты от вражеского элемента. Бдительность – священный долг каждого советского гражданина»<sup>130</sup>.

Из выступления на пленуме Васюганского райкома ВКП(б) начальника РО МВД Ямщикова 25 марта 1950 года: «С агитационной и массово-политической работой у нас далеко не всё благополучно, особенно в отдаленных районах, и окружающих нас контингент ссыльных использует это в своих гнусных целях. В поселке Моисеевка в каждом дворе сушат сухари, ожидая войны. А версию эту распространяют турки»<sup>131</sup>.

Замечу, что версия о возможности войны, причем с использованием атомной бомбы, тогда постоянно присутствовала в газетах, являвшихся, по ленинскому определению, «коллективным пропагандистом и агитатором». При чем тут были ссыльные турки?

Из выступления на районном отчетно-выборном собрании партийной организации 12 февраля 1950 года автора процитированного выше напоминания о священном долге – бдительности, начальника Васюганского РО МГБ Шмыгарева: «...К нам выслали иноподданных и лиц без гражданства. Казалось бы, нужно быть бдительными к этому элементу, однако отдельные товарищи этого не учли, наоборот, стали с ними сближаться, рассказывать, как мы живем, что у нас за народ, чем он занимается. Это уже есть выручка врагам нашего народа... Тов. Кунгуров (председатель Айполовского сельсовета. – В. М.) напился пьяным: вместо того чтобы идти домой, зашел в дом иноподданных и стал им рассказывать, как он живет, почему не уезжает отсюда. Кроме того, рассказал о наличии пушного сырья в районе и как его добывают. Далее рассказал, что вы здесь уже не первые, у нас есть кулаки и адм. ссыльные. Кунгуров не понял того, что его разговоры могут попасть контрреволюционному элементу за границу, где могут использоваться в реакционных целях против Советского Союза...»<sup>132</sup>

Еще из документов 1950 года. Выдержка из выступления на пленуме Васюганского райкома партии всё того же начальника районного отделения МГБ: «...В нашем районе много людей различных национальностей, репрессированных за контрреволюционную деятельность. Эти люди действуют скрыто и, пользуясь нашей беспечностью, проводят свою вражескую деятельность. Приведу такой пример: в 1948 году была сфотографирована демонстрация детей в пос. Новый Васюган – и та

сторона, где дети хуже одетые. А фотография эта пошла дальше. Или фотографирование наших объектов: парткабинета, продовольственной и промышленной базы райпотребсоюза. К чему всё это?»<sup>133</sup>

Хочется повторить вслед за задавшим этот вопрос: «К чему всё это?» Сегодня процитированное выше мы в состоянии воспринимать с долей юмора. Но тогда выступления работников госбезопасности осознавались совсем по-другому.

Однажды Арсентий Васильевич Рыженков, председатель колхоза, где я в ту пору работал, спросил поселкового коменданта, за что сюда сослали народ с Кавказа. Тот ответил, что эти люди хотели поднять восстание и присоединиться к Турции. Думаю, поселковый сам в это не верил, но, видимо, так было сказано его начальством. Большинство привезенных в Красноярку «заговорщиков» были женщины, дети и старики, то же самое было в других колхозах и на лесоучастках, куда определили на спецпоселение очередных ссыльных.

«В июле 1949 года для пополнения постоянного кадра леспромхоза по линии МВД получено рабочих иностранно-подданных и лиц без гражданства, по национальности турок, в количестве 236 человек, из которых 111 – взрослого возраста, – докладывал в трест «Томлес» начальник Нибегинского леспромхоза Майоров. – При регистрации и врачебном освидетельствовании оказалось, что из этих 111 человек 62 – нетрудоспособные и инвалиды труда. В настоящее время пятнадцать из них используются на второстепенных работах, а остальные 47 не работают, средств на существование не имеют, вернее, живут случайностью, к тому же занимают жилплощадь. Комендатура органов МВД, находящаяся на территории леспромхоза, мер по обеспечению содержания продовольствием, жильем не принимает. Есть прямое опасение неприятного исхода дела... Леспромхоз в настоящее время данное количество (62 человека) в списке рабочих не числит... Прошу поставить вопрос перед Областным управлением МВД об отзыве и вывозе из леспромхоза настоящего контингента в количестве 62 человек»<sup>134</sup>.

Каков был «исход дела», мне установить не удалось.

В 1949 году в Томской области на предприятиях лесной промышленности работало более одиннадцати тысяч ссыльных всех категорий. Кроме того, на лесозаготовки ежегодно на всю зиму привлекалось несколько тысяч сезонников из колхозов. Каждой сельхозартели доводили задание, сколько надлежит отправить в леспромхозы вальщиков и возчиков.



Лесозаготовительной техники тогда не было, лес из делен на плотбища<sup>135</sup> вывозили конной тягой; орудия труда – двуручные и лучковые пилы, топоры и стяжки, которыми накатывали на сани многопудовые бревна («баланы» – как их называли). Труд лесозаготовителей тяжел, в Сибири особенно. Зимой – морозы под сорок градусов, снег по поясу, летом – оттаившие болота, гнус... Для колхозов лесозаготовки были обязательной повинностью, срыв задания расценивался как саботаж.

Лесоучасток, где работали сезонники из Красноярки и нескольких других поселков, находился в одном перегоне<sup>136</sup> от нас на пути в райцентр, куда мне приходилось дважды за зиму ездить: в феврале – с годовым отчетом, в марте – с приходорасходной сметой. И всякий раз по дороге я останавливался на лесоучастке дать отдых коню и переночевать.

Обитались сезонники в срубленных из сырых бревен бараках. Мужчины и женщины – все вместе... Неопытные стены, дощатые топчаны (некоторые из них отгорожены ситцевыми занавесками), заставленная котелками и кастрюлями плита, тяжелый запах сохнувшей у печки одежды, пимов, конской сбруи, тусклый свет керосиновых ламп... Ночами – спертый воздух и разноголосый храп; ранним утром – возбуждающий побудку дребезжащий звон ударов по висящей у двери железной отвалке, хлопанье отворяющейся в морозную темень двери, ругань, окрики запрягающих лошадей возчиков. Снова в лес, где с темна до темна, вздымая снежную пыль, тяжело падают спиленные деревья, стучат топоры, далеко разносятся хлесткие удары кнутов по надрывающимся лошадиным... И так всю зиму, изо дня в день, из ночи в ночь...

На лесоучастках у начальства и приближенной к нему части кадровых рабочих имелось мадо-мальски обустроенное жилье, но на сезонников эта забота не распространялась. Что касается быта периодически поступающего в распоряжение треста «Томлес» так называемого спецконтингента, то он был таким же, как и у сезонных рабочих. В Батурином леспрохозе более восьмидесяти семей жили в бараках, где на человека приходилось всего от полутора до двух квадратных метров площади. Мужчины, женщины и дети ютились там на сплошных нарах<sup>137</sup>. Кстати, в 1919 году Постановлением ВЦИК «О лагерях принудительных работ» устраивать сплошные нары было запрещено во избежание возникновения эпидемий среди заключенных<sup>138</sup>. Однако запрет этот в концлагерях, а также на некоторых лесоучастках, куда поступали крупные партии спецконтингента, игнорировался.

Справедливости ради надо сказать, что со временем часть семей выселенцев удавалось переселить в дома, где имелись однокомнатные квартиры, но освободившиеся места в бараках сразу же заполнялись вновь прибывшими ссыльными.

В начале 1950 года по указанию УМВД по Томской области (быть может, получившего соответствующее распоряжение Министерства внутренних дел) райотделами МВД была проведена проверка условий жизни выселенцев, привезенных на территорию Томской области в течение двух предыдущих лет. Приведу несколько выдержек из докладных о ее результатах.

Из докладной начальника Колпашевского райотдела МВД: «...В пос. Первомайка Матюшкинского сельсовета (колхоз «1 Мая») большинство выселенцев-латышей не имеют хлеба. Семь семей не имеют также картофеля, одежды и обуви... В колхозе «Новостройка» все выселенцы-латыши не имеют хлеба, а четыре семьи, кроме того, – картофеля и других продуктов питания. Отсутствует у них теплая одежда и обувь. В колхозах этого сельсовета хлеба и картофеля не имеется, оказать помощь выселенцам колхоз не в состоянии... В пос. Ново-Короткино Суготского сельсовета выселенцы-латыши, трудоустроенные в колхозе им. XVIII партсъезда, не обеспечены хлебом, семь семей (23 человека) не имеют также картофеля и других продуктов питания. У семей Озолинь и Гуньбис нет одежды и обуви. В семьях Эйныш, Ремерс и Калныныш дети не посещают школу из-за отсутствия обуви... В деревне Старо-Абрамкино в колхозе «Путь к социализму» у четырех семей (15 человек) не имеется хлеба, картофеля и других продуктов. Колхоз не в состоянии оказать им помощь, так как запасов никаких не имеет... В колхозе «Муравейник» продуктами, хлебом и картофелем большинство выселенцев-латышей не обеспечено. Местное население картофель и овощи не продает вследствие исключительно плохого урожая в 1949 году. Для обеспечения огородов семенами все выселенцы-латыши картофеля не имеют. Колхоз возможности оказать им помощь не может... В колхозе имени Кирова большинство выселенцев живут слабо. Четыре семьи не имеют теплой одежды и продуктов питания. Хлебом здесь обеспечиваются по 200 граммов зерна (отходов), которых в колхозе совсем мало и хватает до 1–5 марта 1950 г.»<sup>139</sup>.

Из докладной начальника Чаинского райотдела МВД: «...Абсолютное большинство выселенцев нуждается в приобретении картофеля для питания, а также для семян текущего, 1950 года... Несмотря на активное участие в работе в 1949 году,

виду низкого валового дохода колхозов, обеспечить себя продуктами на выработанные трудодни они не смогли»<sup>140</sup>.

Из докладной начальника Кривошеинского райотдела МВД: «...133 семьи выселенцев-латышей продуктов не имеют... Кроме того, четверо сирот и 122 престарелых и инвалида крайне нуждаются в продовольствии. Большинство выселенцев теплой одежды и обуви не имеют»<sup>141</sup>.

Докладные примерно такого же содержания под грифами «Секретно» и «Сов. секретно» поступили тогда и из других районов. Однотипный стиль изложения, ограниченный набор слов, но суть одна и та же. То, что ни в леспромахозах, ни в колхозах не в состоянии были создать этим людям элементарных условий, обеспечить работой, которая давала бы им возможность прокормить семьи, было очевидно. Но местные власти упрямо продолжали просить присылать ссыльных еще и как можно больше. Обращаясь по этому поводу в Министерство внутренних дел СССР, секретарь Томского обкома ВКП(б) Смольянинов 1 февраля 1950 года писал: «При вселении в прошлом году в нашу область спецконтингента мы не смогли его завезти в Пудинский, Александровский, Васюганский, Верхне-Кетский и другие северные районы области, крайне нуждающиеся в рабочей силе для развития сельского хозяйства, лесной промышленности и других отраслей. В связи с необходимостью заселения этих и других районов, просим вселить в Томскую область в течение ближайших трех лет пятьдесят тысяч рабочих, в том числе в пятидесятом году – двадцать пять тысяч, из которых восемь тысяч – для лесной промышленности»<sup>142</sup>.

Сообщая в Москву о том, что в 1949 году «не смогли завезти спецконтингент» в Васюганский и Верхне-Кетский районы, Смольянинов лукавил. В Государственном архиве Томской области сохранилась информация УМВД, в которой указано, сколько и куда в 1949 году завезли выселенцев. В частности, в указанные выше районы тогда было доставлено на спецпоселение 2085 человек<sup>143</sup>. Впрочем, быть может, Смольянинов был недостаточно проинформирован. Однако в обкоме не могли не знать, что вместе с главами семей выселяются, а следовательно, и вселяются на новое место жительства и их семьи – дети, старики и жены, многие из которых обременены малолетними детьми. По статистике, на каждую тысячу трудоспособных ссыльных приходилось более тысячи трехсот иждивенцев. Таким образом, вместе с пятьюдесятью тысячами запрашиваемых обкомом ВКП(б) рабочих должно было

бы прибыть еще 65–70 тысяч тех, кто был не в состоянии работать, но кому также были необходимы кров и еда. Неужто было не понятно, коль власть не в состоянии обеспечить ни тем ни другим большинство людей, которые уже находились на спецпоселении, то какая участь могла ожидать более ста тысяч новых ссыльных, которым тут предстояло «развивать сельское хозяйство и лесную промышленность»? Во сколько жизней это уже здесь обошлось и во сколько могло обойтись очередное массовое «доприселение»? Сколачивать пришлось бы не только сплошные нары, но и гробы... Однако власть мыслила иными категориями.

Маховик репрессий был орудием построения социализма. Отправляя в концлагеря и ссылку не вписывающийся в предстоящее светлое будущее «элемент», власть пресекала малейшую возможность сопротивления и одновременно получала в свое распоряжение рабочую силу, затраты на которую были сведены до минимума. В лагерях убыль этой рабочей силы пополнялась очередными партиями заключенных, в ссылке – очередными подневольными поселенцами. Менялись лишь их наименования: «спецпереселенцы», «спецпоселенцы», «выселенцы»... Впрочем, сплошь и рядом в засекреченных документах тех лет все они именуются «спецпереселенцами». Приставка «спец» была более конкретна и отражала статус закрепощенного населения, обобщенно именованного «спецконтингентом».

В марте 1950 года Совет министров СССР (читай: Сталин) обязал Министерство внутренних дел значительно пополнить спецконтингент, занятый в лесной промышленности на Урале и в Сибири. В частности, на предприятия трестов «Томлес» и «Томлестранстрой» надлежало срочно отправить три тысячи семей<sup>144</sup>. Первый эшелон на станцию Томск-2 прибыл уже в апреле – в гулаговских вагонах привезли 1277 человек. Затем с мая по август прибыло еще семь таких же железнодорожных составов. В общей сложности в 1950 году спецконтингент Томской областиполнили 8270 выселенцев из Прибалтики и с Западной Украины<sup>145</sup>. После недолгого пребывания на пересылке всех выселенцев отправили из Томска на баржах в леспромахозы, расположенные на Оби и ее таежных притоках. Однако на многих лесоучастках размещать прибывшие семьи было негде. «Большое количество спецпереселенцев, переданных в апреле – июне 1950 г. для трудового устройства тресту «Томлес», расселены в неутепленных палатках и помещениях, непригодных для жилья в зимних усло-



виях»<sup>146</sup>, – констатировал в очередном приказе министр лесной и бумажной промышленности Орлов, требуя предоставить прибывшим выселенцам жилье до наступления холодов. Трудно представить, что было бы, если в здешние леспромхозы тогда завезли бы не восемь тысяч человек, а запрошенные обкомом 25 тысяч рабочих плюс их семьи...

В следующем, 1951 году Министерство внутренних дел продолжило интенсивно пополнять спецконтингент в Сибири и на Урале. В апреле на железнодорожную станцию Томск-2 прибыло с запада два эшелона с 3089 выселенцами<sup>147</sup>, в октябре привезли еще 6070 человек<sup>148</sup>. Часть отправили в леспромхозы, часть – в колхозы. Тем, кого привезли в октябре, досталось особенно трудно: в Сибири в эту пору начинается зима.

И всё же, безусловно, условия жизни ссыльных конца сороковых – начала пятидесятых годов отличались от того, что выпало на долю сосланных сюда в сорок первом, и тем более тех, кому довелось обживать берега таежных рек в начале тридцатых. Выселенцы жили бедно, впроголодь, но уже не было самого страшного – голодомора. В отличие от т. н. нового контингента ссыльных, привезенных в военном сорок первом, большинство второй волны ссыльных из Прибалтики и с Западной Украины были привычны к физическому труду, поскольку основная масса выселенцев – это бывшие хуторяне. И повторюсь: теперь привозили на спецпоселение не разлученных с отправленными в концлагеря мужчинами жен и отлученных от отцов детей, а целиком семьи. Когда рядом родной человек, пережить беду легче... Тем не менее крест, который довелось нести выселенцам, был весьма тяжел, и свежих крестов на нарымских погостах тогда появилось много. Лишенные всего нужного за долгую жизнь, знающие, что обратного пути на родину нет, умирали от безысходности старики. Но умирали и те, кому бы еще жить да жить...

Из справки прокурора Томской области Выкражкина в Томский обком ВКП(б) от 26 февраля 1951 года: «Произведенной проверкой по существу заявления заведующего Асиновским райздравотделом Иванилова в адрес секретаря Томского обкома ВКП(б) Асланова о массовых случаях смертности среди детей спецпереселенцев, прибывших в Асиновский район в октябре месяце 1951 г., установлено: спецпереселенцы в числе 700 человек прибыли 17 октября в двух эшелонах в сопровождении спец конвоя МГБ СССР. Оба эшелона формировались в начале октября в Литовской ССР, причем на месте погрузки и в пути следования контингент спецпереселенцев

дезсанобработке не подвергался. Через три дня после отправки появились случаи заболевания корью, в особенности среди детей. Больные были помещены в вагон-изолятор в то время, когда появилась у них сыпь. Лицам, которые находились в контакте с больными, противокоревая сыворотка не вводилась. По прибытии эшелонов на ст. Асино врачом Асиновской санитарно-эпидемиологической станции тов. Бабанской был установлен ряд случаев заболеваемости среди контингента и массовой завшивленностью. Это обстоятельство обязывало работников райздравотдела и Асиновской спецкомендатуры немедленно наложить карантин на прибывших лиц и госпитализировать больных, что следовало согласовать с районным руководством. Однако этого сделано не было. Прибывшие люди, в том числе больные, были немедленно направлены к местам их поселения. Как установлено следствием, карантин не был наложен вследствие того, что прекращался навигационный период по реке Чулым, по которой следовал путь к местам поселения спецконтингента, предназначенного как рабочая сила для лесозаготовительных участков Лайского леспромхоза. Дирекция леспромхоза не была готова к приему этого контингента, а имеющиеся ветхие помещения, в коих были размещены спецпереселенцы, не имели запаса дров для отопления. В помещениях было холодно, и люди вынуждены были готовить пищу под открытым небом, т. к. в помещениях отсутствовали даже печи. Из-за неблагоприятных жилищных условий, несоблюдения санитарных правил случаи заболеваемости среди спецконтингента, в особенности среди детей, участились. Как установлено следствием, за период с 22 октября по 13 ноября 1951 года умерло детей в возрасте до двух лет 18 человек и два человека взрослых. По этому делу привлекается к судебной ответственности врач Асиновского райздравра Рахманова З. С. по ст. 111 УК РСФСР. Степень виновности директора Лайского леспромхоза Молчанова В. П. в настоящее время уточняется. Материалы следствия в отношении виновности коменданта спецкомендатуры Сенькова и работников спец конвоя, сопровождавшего эшелоны со спецпереселенцами, направлены по подследственности военному прокурору войск МГБ по Новосибирской области»<sup>149</sup>.

Как были наказаны упомянутые лица, и были ли вообще наказаны, мне неизвестно. Но очевидно, что прежде всего были повинны в случившемся те, по чьей воле тогда уже три десятилетия проводился на шестой части суши жесточайший эксперимент насильственного введения нового общественного

строй. Счет жертвам шел на миллионы, и сколько детских жизней уже было оборвано во имя некоего светлого будущего... Какое значение для власти имели еще восемнадцать зарытых в землю трупиков? Почему-то сейчас снова вспомнил рассказанное мне моим васюганским земляком Виктором Степановичем Хохловым, как плыла за баржей, на которой везли народ в ссылку, брошенная его матерью в Обь берестяная кузенка, в которой лежал завернутый в белую тряпицу его умерший братик. Слово не хотел мертвый младенец отстать от своих родных, словно боялся остаться один на пустынной, холодной реке...

Что бы сказал обо всем том Федор Михайлович Достоевский, изрекший устами Ивана Карамазова мысль, что весь мир познания не стоит одной слезинки ребенка?..

В начале девяностых годов в Томскую область приезжало много литовцев, чтобы найти могилы своих умерших в сибирской ссылке родных и увезти их останки на родину. Быть может, кто-то из них увез в отчий край и косточки кого-нибудь из тех скончавшихся ребятишек. Однако тысячи детей и взрослых, сосланных сюда в тридцатых, сороковых и пятидесятых годах обживать нарымскую землю, остались в этой земле навеки. Не звонят над ними колокола, струхли упавшие кресты. Оплакано, отголошено...

В марте пятьдесят третьего умер Сталин. Утверждают, что уже готовилась санкционированная им очередная массовая репрессия. Но не состоялась – вождь отбыл в мир иной...

Не по-весеннему студеными были на Васюгане те мартовские дни. Утрами в Муромке над изобяными крышами стояли остывающие на стуже столбы сиреневого дыма, колюче блестя наст на огородах, белела заснеженная река и лишь зимняя дорога темнела вытаивающим конским навозом. А в каждой избе лилась и лилась из черной тарелки репродуктора печальная музыка.

В день похорон Сталина собрали колхозников – всем вместе слушать в клубе по радио траурную церемонию. Не поехали ни по сено, ни по дрова. Какая работа в такой день? Окаймленный черной лентой, стоял на сцене прислоненный к спинке стула портрет, за ним, возле включенного на полную громкость батарейного приемника, сидела партячейка – председатель колхоза Федор Лаврентьевич, заведующая клубом Анастасия Филипповна, ветеринар Александр Дмитриевич. Анастасия Филипповна произнесла короткую речь, и в голосе ее были слезы. Многие женщины плакали.

Лавок в клубе не хватало, принесли из конторы. Сидели тесно в ватных фуфайках, молча слушали. С улицы доносились мычание – в деннике возле коровника бузилась бык Спирька. Мычал протяжно, с надрывом... И вдруг послышалась гармонь. Ближе, громче... Кто-то наяривал, рвал меха.

– Батюшки, да что же это делается?! Что за назгал?!

Соскочила со сцены Анастасия Филипповна, побежала в чesанках к выходу, следом Федор Лаврентьевич, фуфайка нараспашку. Распахнули дверь, и ворвалось с мороза:

Ты подгорна, ты подгорна,  
Широ-о-окая улица-а...

Катят в кошеве мимо конторы деда – Черкасов, Смолин, Вольнкин. Поматывает головой Воронко, кидает копытами в передок кошевы ошметки снега, потряхиваются кисти наборной шлеи. Наяривает в руках деда Смолина гармошка, Черкасов подпевает, на облучке Вольнкин подхлестывает вожжами коня. Раскраснелись, пьяненькие, раздухарились.

Два деда нашенские, деревенские, Смолин – тебризский. Зимами Черкасов возил до Тевриза почту и, покуда сутки ждал встречную, квартировал там у Смолина. Хоть ездил со своим харчем, вздумал отгостить – пригласил к себе. Так уж получилось, что в эдакий неурочный день. И Вольнкина с другого края деревни позвал, чтобы веселей было застолье. Все трое на германской воевали, Георгиями награждены. У деда Смолина аж три креста... Все трое раскулачены, а Вольнкину еще и Беломорканал строить довелось – побыл там, где власть не советская, а соловецкая. Вспомнили, выпили бражки, запрягли коня – и айда по деревне!

Придыхает гармонь, подпевает дед... Три бороды лопатами, три шапки набекрень. Сталин помер – че теперь, всем ложиться и тоже помирать?

Замахала Анастасия Филипповна полными ручками:

– Сдурели, че ли? В траурный день...

Федор Лаврентьевич вовсе из себя вышел:

– Туды вашу растуды! Да за это знаете, что вам будет?

Трухнули деда, вылетел хмель из голов.

– Мы че? Мы ниче... Мы понимаем. Бес, язви его, попутал...

Извиняйте.

Умолкла гармошка. Придержали коня, поехали тихонько прочь с глаз.

– Извиняйте.



Эх, деды, деды... Георгиевские кавалеры.

Пошла на место Настасья Филипповна, пошел за ней Федор Лаврентьевич. Но уже не настроиться колхозникам на печаль, сбаламутили народ деды. А еще и Спирька не уймется, мычит и мычит в деннике...

Положили в Москве рядом с телом Ленина тело Сталина, прошорохтели в батарейном приемнике перемежающиеся тресками и электрическими разрядами донесшиеся орудийные салюты, и в наступившей тишине громко отстукивали уходящее время облупившиеся ходики.

Быть может, сегодня кому-то покажется странным, но не думал тогда я, что после смерти Сталина что-то может измениться в жизни. Всё казалось неизбежным: умер Сталин – будет другой вождь. Вон сколько их на портретах: Маленков, Берия, Молотов, Микоян, Каганович, Хрущев...

Минуло лето пятьдесят третьего, названное в памятном многим кинофильме холодным, но на Васюгане то лето, как обычно, было жарким. Прошла амнистия, по которой вышли на свободу сотни тысяч заключенных, в основном уголовников, однако участи массы политзаключенных и ссыльных амнистия не коснулась. Было мне уже двадцать шесть лет, почти половину из них я пробыл спецпереселенцем... И снова решил написать заявление об освобождении. Сколько уже получил отказов, но всякий раз до очередного ответа теплилась надежда. И наконец-то эта надежда сбылась... Датированная 17 февраля 1954 года справка хранится у меня до сих пор: «...с учета спецпоселений снят. Справка при утере не возобновляется, видом на жительство служить не может». Штамп, две подписи, круглая печать. Отныне я уже не был спецпереселенцем. Но оставался беспаспортным колхозником и куда-либо уехать с этой справкой не мог. Впрочем, ехать было некуда. Тем более с семьей – жена, маленькая дочка, второй ребенок вот ни вот должен родиться. А здесь свой домик, огород, корова. Сколько лет мечтал освободиться, а получил «вольную» и остался жить на месте. Только отныне вроде уже не был закрепощен комендатурой. Хотя снятие с учета спецпоселений и не означало, что я реабилитирован. Ни ранее снятые с комендатурского учета «кулаки», ни ссыльные сороковых и пятидесятых годов о том, что существует понятие «реабилитация», вообще не имели представления. Счастьем было получить долгожданную справку, что ты больше не спец...

В феврале 1956 года состоялся XX съезд КПСС. Погибших было не вернуть, судьбы выживших сломаны, но уже то, что о гибели миллионов невинных людей было сказано с трибуны,

с которой ранее произносили совсем иные речи, явилось моментом истины. Поколению, вступившему в жизнь уже в другое время, не понять чувств, которые испытали тогда те, кто был угнетен, обездолен и унижен. Пусть сказано было не всё и причину трагедии миллионов людей объяснили лишь культом личности Сталина, всё равно стало легче дышаться. Со временем начнут опять исподволь превозносить Сталина, станут пытаться загнать осмысление истории в прежние жесткие рамки, но тогда наступило недолгое время оттепели...

О том, что мой отец погиб в концлагере, я узнал военной зимой сорок второго. Жил тогда в Новом Васюгане, работал на рязово-заводе. Помню, мартовским вечером возвращался с работы. Солнце только что опустилось в сосняк за райцентром, и придавленное холодной синевой алое зарево уходило за край земли. Днями таяло, оголились обращенные на юг скаты тесовых крыш, осели побитые капелью сугробы у завалин, а к вечеру вновь вместе с тенями напознала стынть и хробостела под ботинками зачарымевшая дорога. Веру Борскую я увидел в переелке. До ссылки мы жили в далеком отсюда Кивныли, отцы наши работали на одном заводе, а теперь она со старшим братом и матерью обитала в Волково. Повязанная полушалком, в пальтишке, из которого выросла за два года, с узелком в руке, увидела меня и остановилась. Я обрадовался ей, спросил, зачем пришла. Она сказала, что пришла продать какие-то вещи, а ночует в семье, где ее знают и пускают на ночлег. Отвечала односложно, а когда я уже собрался идти своей дорогой, посмотрела на меня долгим взглядом и тихо сказала, что одной из ссыльных женщин пришло в Волково письмо от мужа...

Мы ничего не знали о своих отцах – где они, что с ними, это было первое письмо «оттуда».

– Их тогда увезли в лагерь, – сказала Вера. – Мой папа жив, а многие умерли... И твой, кажется... умер.

Помню ступавшуюся синь неба, сиреневые тени, удаляющиеся шаги... Я побежал за ней, догнал, цепляясь за последнюю соломинку:

– Кажется? Или...?

Она посмотрела на меня и ничего не ответила.

В начале девяностых годов я получил ксерокопию документа о смерти папы:

«Акт № 48

1941 года, ноября 12 дня. Отделение Севураллага НКВД Ступинский лагпункт № 2.

Мы, нижеподписавшиеся заведующий стационаром Л/П Трайар Я., дежурный по палате Банкаускине Л. и санитар стационара Нурк А., составили настоящий акт в том, что сего числа ноября м-ца 1941 г. в 16 ч. 10 м. умер находящийся на излечении в упомянутом стационаре з/к Макшеев Николай Александрович, поступивший на излечение 7 ноября 1941 года. Местожительство его – Кивийли ЭССР. Семья его находится неизвестно где. При наружном осмотре трупа найдены следующие приметы: рост средний, цвет глаз голубой, цвет волос на голове русый, на бороде, на усах. На теле его особых примет не было. Смерть последовала от коллапса сердца вследствие энтероколита. Бывшие при умершем Макшееве вещи при поступлении его в стационар взяты на хранение в кладовую. Настоящий акт составлен в 5 экземплярах.

Зав. стационаром Я. Трайар  
Деж. по палате Л. Банкаускине  
Санитар А. Нурк»

Ровно за восемнадцать лет до этого дня, 12 ноября 1923 года, папа венчался с моей мамой в Успенском соборе в Тарту. Наверное, в последние минуты жизни он думал о ней, обо мне и Светлане. За тысячи километров от него моя мама в этот день почувствовала, что он умер. И я тогда ночью видел папу во сне. Бледный, изможденный, он смотрел на меня...

Реабилитировали его посмертно.

Сообщение из Прокуратуры СССР  
29 августа 1958 г.

«По делу Макшеева Николая Александровича проведена дополнительная проверка, установлено, что он был привлечен к уголовной ответственности необоснованно. Постановлением Прокуратуры СССР от 23 августа 1958 года дело в отношении Макшеева Н. А. производством прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Прокурор отдела по надзору за следствием в органах госбезопасности, старший советник юстиции Похлебин»

За отсутствием состава преступления... Маму, сестренку и меня реабилитировали в 1990 году. Из четырех членов нашей семьи – троих посмертно. Пусть читатель не упрекнет меня за то, что в данном исследовании часто обращаюсь к участи сво-

их близких. В трагедии одной семьи преломилась трагедия миллионов подобных семей.

...В год смерти Сталина в СССР насчитывалось 2,8 миллиона спецпереселенцев<sup>150</sup>, из них на территории Томской области – 79926 человек<sup>151</sup>. Первые спецпереселенцы – раскулаченные крестьяне были уже сняты с учета комендатур, основную массу ссыльных составляли выселенцы из Прибалтики, Молдавии, с Западной Украины, Кавказа и Поволжья. Но к концу пятидесятых годов они тоже были освобождены. Препятствовать возвращению на родину освобожденным ссыльным, работавшим здесь на промышленных предприятиях, в частности в леспромхозах, власти не могли. Колхозник же был сродни крепостному. Ему не полагалась пенсия. Если он заболел, ему не положен был бюллетень, работа в колхозе не засчитывалась в рабочий стаж. А чтобы беспрепятственно уехать и где-то устроиться жить и работать, для чего нужен был паспорт, требовалась справка из сельсовета. Но там колхознику ее выдавали, лишь если его отпустило общее собрание. В то же время председателей нарымских колхозов начальство здешних районов предупреждало: отпускать только нетрудоспособных, а от трудоспособных колхозников заявлений о выходе из колхоза не принимать и на собрания не рассматривать, пусть работают; начнете отпускать – будете отвечать за умышленный подрыв колхозов...

Тем не менее освобожденные ссыльные уезжали, имея на руках лишь справку о снятии с учета спецпоселений. Видом на жительство она служить не могла, но о том, что ты не беглый, – свидетельствовала. Насильно тебя вернуть уже не имели права. Покидали эти места те, кто был сослан сюда в сороковых и пятидесятых годах, уезжали и снятые с учета комендатур спецпереселенцы, корчевавшие тайгу и рубившие первые избы на берегах здешних рек в начале тридцатых. Уезжали в поисках лучшей доли. Всплыли сейчас в моей памяти слова из песни, часто исполнявшейся в те годы по радио: «За землю, за волю, за лучшую долю...» Песня была о революции. Землю после нее крестьяне не обрели, вместо воли оказались закабаленными, лучшая доля осталась в грезах... И, несмотря на чинимые колхозникам препятствия, отток сельского населения, в том числе и коренного (не спецпереселенцев), был тогда повсеместным, чему способствовало и повсеместно начавшееся в пятидесятых годах укрупнение колхозов.

История российского крестьянина в советское время – это бесконечное экспериментирование над ним в масштабах



страны. Таковым было и то массовое слияние хозяйств. Мои сверстники-колхозники помнят, как по нескольку колхозов, а следовательно, деревень и поселков, объединяли в один колхоз и наиболее крупное село объявлялось центральной усадьбой укрупненного хозяйства, куда стягивались ресурсы поглощенных им соседних колхозов. Вероятно, в идее укрупнения было рациональное зерно, но эта своего рода «вторая коллективизация» (хотя и без того огромного урона, который нанесла крестьянству ей предшествовавшая первая) проводилась так же, как и та, огульно, под нажимом сверху, по графику – в какие сроки, сколько «охватить», когда завершить... Большинство колхозников, испытавших на себе преобразования предыдущих лет и всё, что им сопутствовало, реорганизации хозяйств не внушала каких-то надежд, что что-либо изменится в их жизни. Часть населения из так называемых неперспективных деревень всё же перебралась на центральные усадьбы укрупненных колхозов, но часть, воспользовавшись очередным переустройством деревни, устремилась на свой страх и риск в город. В результате тысячи и тысячи ранее уже разоренных коллективизацией, обезлюдевших в войну деревень бесповоротно исчезли с лица земли.

Те, что были основаны столетия назад, теперь пустыми глазницами избяных окон глядевшие на зарастающие бурьяном улицы, умирали мучительно долго. Убогие поселки спецпереселенцев, возникшие на раскорчевках в начале тридцатых, исчезли быстро. Красноярки не стало за два года. Столько времени потребовалось, чтобы перевезти в соседнюю Муромку скотные дворы, контору, клуб и десятка полтора разобранных по бревнышку избенок. Перевезли постройки, которые покрепче, а те, что осели в землю, оставили догнивать на месте. Просуществовала Красноярка двадцать лет: высадили там народ на крутояр в тридцать первом году, а в пятьдесят втором всё уже там было безмолвно и печально – пустынный берег, одинокие скворечники на одиноких деревьях, поваленная городьба, еще не выветрившийся запах жилья и уже изгоняющий его запах тлена... И прилетавшие осенними утренниками на оголенные стропила брошенных избенок черные косачи чудились душами тех, кто лежал там в земле за поскотиной, где в разросшемся чащобнике уже не было видно крестов.

Муромка просуществовала на десять лет дольше. Не стало ее вскоре после того, как Васюганский район объединили с Каргасокским и новое начальство решило присоединить наш колхоз к находившемуся рядом с новым райцентром

колхозу «Заря коммунизма». То, что было дотуда без малого четыреста километров, начальство не смущало. Ранее тот колхоз уже укрепляли четырьмя коллективными хозяйствами, «Магнитострой» должен был стать пятым. Через два года «Зарю коммунизма» преобразуют в совхоз, а какое-то время спустя и его не станет, как не стало сотен других нарымских хозяйств... Но это случится потом, а тем летом погрузили в Муромке на баржу колхозных коров, лошадей, плуги, сенокосилки и жатки, закатали по следам на палубу несколько лет назад приобретенный локомотив, который тогда всем народом выкатывали по этому же взвозу на гору, – и потянул на буксире катер осевшую в воду баржу вниз по Васюгану к далекой Оби...

На новую центральную усадьбу пересели всего три семьи. Остальные подались – кто в родное Прииртышье, откуда были высланы, кто уехал искать счастья в город. А мы с женой погрузили на попутную баржу свою коровенку, шесть курочек, вместили все наши пожитки крестьянский сундук и с двумя, родившимися у нас в Муромке, девочками пересели в Каргасок. Там я получил первый в своей жизни паспорт. Было мне тогда тридцать пять лет... Прожили мы в Каргаске три года, затем перебрались в Томск. Муромки к этому времени уже не было.

К началу шестидесятых годов из сорока девяти поселков, основанных спецпереселенцами на берегах Васюгана, оставалось лишь четыре: доживавшие свой век Тевриз, Майск, Чижанка и бывший райцентр бывшего района – Новый Васюган. Всё созданное вопреки здравому смыслу и законам бытия – недолговечно. Не говоря уже о раскулачивании и бесчеловечности сопутствовавшего ему «трудового перевоспитания», принудительное освоение Васюганья (как, впрочем, и остальной необжитой территории тогдашнего Нарымского округа) для ведения там сельского хозяйства было экономически неоправданно. Нет в Васюганье ни раздольных лугов, ни путных сенокосов; до половины мая – холода, до июня – половодье, в сентябре по утрам заморозки... На долгую зиму припасти скоту сена удавалось в обрез; урожайность зерновых не превышала шести-семи центнеров с гектара; молока от коровы давали менее восьмисот литров в год. Ни земледелие, ни животноводство не могли быть здесь эффективными. Для крестьянина его изнурительный труд был там не только бесплатным, но и безрадостным по результатам.

Опустели там и поселки, где жили те, кто заготавливал и сплачивал по Васюгану лес. За тридцать лет вырубил близ реки и ее таежных притоков сосняк и кедрчак, и на вырубках быстро пошли в рост чапыжник и осинник. Не стало доступных лесных угодий, не стало работы для лесозаготовителей и сплавщиков. Погнили врастающие в землю бараки, в которых обитались зимами сезонники и куда поселяли прибывавших на лесоучастки выселенцев. Опустели плесы, обмелела река, обнажаются летом речные перекаты, и лишь веснами плывут по Васюгану самоходные баржи, спеша завезти по большой воде оборудование для обосновавшихся там ныне нефтяников и газовиков.

У каждого из нас свои воспоминания о прошлом. Наверное, самые яркие – о детстве и юности, какими бы те годы для человека ни были. Мое детство прошло вдаль от Сибири – то была совсем иная, отличная от всей моей последующей жизни, трагически изменившаяся за неделю до начала войны. Затем была долгая дорога на восток за Урал и многие годы, прожитые на Васюгане. Всё невыразимо страшное, что там случилось, и то светлое, что потом в моей жизни тоже там было.

А раннее детство моей жены прошло в Прииртышье, в селе Большеречье. Когда в тридцатом году ее родителей, раскулачив, выгнали из дому и отправили в Кулайскую комендатуру на гибельный Ягыл-Яг, она, трехлетней, впервые оказалась с ними в Васюганье. Вскоре они оттуда сбежали в родное село и год ютились в кержацкой моленной... Отца ее за побег посадили в тюрьму, а мать, бабушку и трех девинок, в числе которых была моя будущая жена, вместе с такими же нищими и обездоленными семьями весной тридцать первого согнали гуртом на баржу и привезли на поросший чернолесьем васюганский крутояр, где затем возникла просуществовавшая два десятилетия Красноярка.

Там, в Красноярке, осталось детство моей жены, там осталась ее юность, и на склоне лет она всё чаще вспоминала тот притулившийся на берегу таежной реки поселок. Вспоминала, как приехал к ним освободившийся из заключения отец.

«Я его уже чуть помнила, – рассказывала она. – Помнились только серые глаза и мягкие усы, которыми он когда-то щекотал мое лицо. Иногда будто во сне видела – стою на высокой кочке, кругом рыжее болото, вода, а он уходит. Это когда он нес меня, заблудился и пошел искать дорогу. А я плачу, боюсь – уйдет навсегда... После этого, наверное, лет пять прошло. В

тот день мама тяпала в огороде картошку. Помню, кто-то из женщин крикнул: «Аннушка, Дмитрий Семеныч твой приехал!» Бывало, раз в полмесяца пароход еще только где-нибудь далеко-далеко заходит, уже все спешат на берег, а в тот раз не было парохода, наверное, отец на попутном катере или паузке приехал... Мама тяпку бросила, побежала, я – за ней. Спустились по взвозу, вижу – стоит на песке у воды. Высокий, просто-волосый, в руке котомка. Не помню, как они с мамой поддоровались. Обнялись, наверное. (Тогда ведь не так, как сейчас: всё строже было, совестливей.) Мама босая, и я босиком, платьишко на мне линялое... Стою молчком. Отец спрашивает: «А эта чья девчонка?» – «Так это же Шурка наша!» – «Ну, язви тебя, какая стала длинная, черная...» Не узнал. После того как меня из-за Кулая вынес, ни разу не видел.

А до того прислал нам посылочку – маленькие кусочки хлеба, черные, заклепные, как ириски. Возьмешь в рот, пососешь, только тогда чуть-чуть запах хлеба почувствуешь. Наверное, от своего папка отделил. Как он сберег, как сумел послать – не знаю. Сестры мои до сих пор вспоминают: «Тятюшка из тюрьмы хлеба прислал». И как он там жил – не знаю, может быть, маме рассказывал, а мы, девчонки, не узнавали. Сейчас бы всё расспросила, а тогда не спрашивали. Трудно жил, и всё.

Помню полинку возле нашего дома в Большеречье. А может быть, была она возле моленной, где мы сколько-то прожили после того, как нас из дома выгнали. Маленький кусочек детства там, остальное – в Красноярке... Помню, старшие уйдут на работу, оставят мне маленькую каралечку хлеба на весь день. А я управлюсь в избе, голиком пол подмету, в огороде куженьку зелени нарву, чтобы вечером похлебку сварить... Скорей, скорей, чтобы управиться, пока на дворе не стало совсем жарко, и тогда быстрее к плетенному коробу, который за чем-то стоит в огороде. А из соседнего дома приходит уже тоже управившаяся к тому времени соседская Морька Шумова со своей испеченной пополам с тертой картошкой колобашкой. Садимся на короб, начинаем качаться и есть. Иногда менялись: Морька мне свою колобашку отдаст, а я ей – каралечку. Едим медленно, чтобы продлить удовольствие. У каждого в детстве свои радости, у меня та... Пол в избе почему-то любила по субботам мыть. Прошу у мамы: «Мама, я буду пол мыть, ну мама...» Скажет в сердцах: «Мой, если так охота, только ладом». А пол основной, некрашенный...

Ягоду в тайге брала. Одна себе, босиком... Неохота идти, ноги в занозах, в ссадинах, змей боюсь, а мама посылает: Приду



из леса, скажет мне вечером: "Ты прямо как в пригоне полнехонько ведро почерпнула". В сельпо ягоды сдаст, мне материи на платяшкo купит, чтобы осенью в школу идти.

А обо всем страшном, тяжелом – не хочу. Зачем? Вспоминается иногда запах от корзины, наполненной брусничкой или грибами. Крупные темно-красные ягоды, желтые грядки с нальнувшими хвоянками, розовые волнушки, белянки, как пятачки... Вспоминается как что-то большое, важное в жизни...»

Много лет собиралась она еще раз побывать там. И мне иногда хотелось вновь увидеть места, где тоже прошла часть моей жизни. Только всё было недосуг, всё мешали какие-то неотложные дела. Но всё острее понимали, что время неумолимо, что жизни у нас остается всё меньше... Наконец собрались. До Каргаска плыли по Оби теплоходом, потом на самолете долетели до Тевриза, затем туда, где была Красноярка, нас довезли на попутном катере. И вот мы идем с ней по поросшей травой елани, на которой стояла наша убогая Красноярка. Стояла еще тридцать лет назад... Но эти тридцать – почти половина нашей жизни. И так же, как тогда, моет васюганской водой слоистый крутояр, но нет уже изб, вымахала по поясу трава, и теснит чистину обступивший осинник. Возле заросшего речного взвоза одиноко маячит перевезенный нефтяниками из Среднего Васюгана домишко, в котором, ожидая смены, коротают время двое вахтовиков; подальше, на взлобке, где когда-то стоял конный двор, серебрится бак под нефть, от него тянутся трубы к реке и в тайгу, к невидимой отсюда скважине. В стороне рвется из-под земли рыжий факел – сто-рает газ.

Для вахтовиков здесь лишь зарастающая елань – не было тут ничего для них родного, – и протоптанные ими дорожки вели только к реке, нефтяному баку и обваленному спекшейся глиной котловану. Но мы-то здесь прежде жили, нам видилось прошлое... Шли по оплетавшей ноги траве, искали приметы былого: вот тут был крутой лог, здесь наслана гать, тут был перекинут мосточек... Лог зарос и стал мельче, сопрела гать, хлопает под ногами в низине болотная жижа, заплывают следы.

Шли по чащобнику, искали кладбище. Раньше казалось, не так уж близко оно от деревни, и вдруг оказалось рядом. Всё стало под одно – бывшая деревня, кладбище... В прежнюю пору возле него было гумно – гудела по осеням молотыга, хлопала, нагоняя дощатыми крыльями ветер, веялка, пахло соломой, мякиной, зерном... Прогалину, где молотили хлеб, можно оп-

ределить и сейчас – трава тут выше, гуще, темней. А на погосте вымахал лес – осинник, березняк, рябины... Бурелом, чаща, почерневший слой прелых листьев. Холмиков почти незаметно, осевшие ямы, много ям... Увидели поваленный струхлевший крест, неподалеку еще две лежащие на земле замшелые перекладины. На всём кладбище лишь два креста, а по ямам, по насыпанному когда-то скорбным холмикам, тянется промятая тракторами и машинами дорога – нефтяники проложили зимник. Летом берегом Васюгана не проехать – топи, речушки, рямы... Зимой – ездят. Раньше в десяти шагах отсюда была проселочная дорога. Возили снопы, зерно с гумна, ездили в поле с плутами, жатками... И сейчас эта дорога еще светлеет просекой. Зачем же по кладбищу? Зачем напролом по крестам, по осевшим могилам? Зачем?

На одном из уцелевших крестов можно разобрать надпись «Рыженковы – 8 человек». Они похоронены не вместе, лежат порознь, – их родные приезжали сюда и, не найдя могилок, поставили один крест всем восьмерым. Второй, накрепившийся, крест – на могиле моего тестя, Дмитрия Семеновича Беспрозваннова, – безответного, истового в работе мужика. Сколько теса и плах напилил он для колхоза маховой пилой, сколько крутобоких стогов сена сметал! Помню, как первой послевоенной весной послали его засеять протянувшиеся вдоль реки узкие полоски земли, переходившие в большое поле, за которым начиналась гарь с редкими почерневшими лесинами. Внизу, под яром, отражал холодное небо речной омут, нахолодавшая за зиму зябь по увалу еще не согрелась, в бороздах на кромках полей лежал зачерствевший снег, а он, засучив до колен исхудалых белых ног холщовые портки, шагал с оттягивавшей плечо севалкой, горстями раскидывая по полю семенное зерно. На лице его было страдание. Никогда прежде крестьянин не стал бы бросать зерно в мерзлую землю, подождал бы, пока прогреется пашня, заструится над ней теплое марево. Но уполномоченный страдал и гнал, чтобы первым рапортовать о начале сева... И ходил босой «кулак», спецпереселенец, кидал в стылую землю семена, плача от горечи и бессилия. Плакал, что напрасен его труд и не уродится хлеб на колхозном поле. Я видел эти слезы. Я возил семена на телеге той весной...

Помер Дмитрий Семенович на следующий год летом. Измаянный болезнями, надсаженный работой. Рубаха у него была одна-единственная, и та заплатата на заплате, – завернули исхудалое тело во что-то... Гроб Анна Васильевна с дочерьми

несли на себе – председатель колхоза коня не дал (покос: все кони за рекой; надо было метать сено...).

Тишина. Только временами печально шелестит листва да надсадно, зло гудят в сырой тени комары. Вкопали глубже изглоданный временем высокий крест. Всплыло в памяти: «Тягучка из тюрьмы хлеба прислал...» Поклонились могиле, попытались припомнить, где еще здесь схоронены те, кого мы знали, – умершие от болезней, лишений, старости, жившие долго, и те, чья жизнь была совсем короткой. Кого-то еще есть кому помянуть, кого-то уже некому.

Тихо, приглушенно звучат наши голоса, и чудятся с ними голоса тех, кто лежит в этой земле, зарыт в таежном краю, вдали от родимых сел, от родных просторов. Отмахиваясь от льнущих комаров, выбрались из сырой сумеречной чащобы, и вдруг где-то впереди рванулся выше леса черный дым. Густой, жирный, он расплзлся над стиснутой лесом еланью, тянулся с яра, нависал тучей над пологим противоположным берегом, и совсем близко, за разделявшим когда-то деревню логом, сквозь теснящиеся клубы дыма яростно прорывались рыжие языки пламени. Захолонуло сердце: неужели через столько лет надо было приехать сюда затем, чтобы увидеть этот неистовый огонь, увидеть, как горит земля? Горела не она – похлахла подожженная вахтовиками ненужная им, слитая в котлован нефть. Когда-то тут ясными морозными утрами медленно поднимался серовато-алый дым из печных труб, летом тянулось, расходясь над рекой, зыбкий дым березовых дров колесного пароходика, который ждали и провожали во всех прибрежных деревнях... Легкий, навсегда улетучившийся дым минувшего. Сейчас над крутояром клубился чадный дым горячей крови этой земли... Сгорела нефть, снигло и угасло обессилевшее пламя, но нехотя расходящаяся туча еще стлалась над еланью и уходящей за поворот рекой. И снова в стороне одиноко трепетал на ветру газовый факел, и еще долго курилась опаленная, спекшаяся земля. Моя, их, наша...

Спустя несколько лет я снова отправился в те места, где осталась часть моей жизни. Жены уже не было на свете, поехал один. На этот раз еще дальше, к верховью Васюгана, туда, где похоронены мои мама и сестренка, – в ныне еще существующее село Новый Васюган. Больше трех часов летел на вертолете. Внизу медленно проплывала изреженная болотами и озерами тайга, по которой, словно оброненная с неба лента, причудливо петляла такая знакомая мне река. Временами, спрямляя путь, вертолет удалялся от нее, но затем его бегущая

тень снова оказывалась рядом с рекой, и я опять видел в иллюминатор ее плесы, мучи<sup>152</sup>, старицы, прижавшиеся к реке елани, где были когда-то поселки. Кольнуло сердце, когда показались внизу две светлые чистинки – всё, что осталось от Красноярки и Муромки, а тень вертолета, словно прозрачная сень набежавшего облачка, всё плыла и плыла над тайгой, озерами, чворами и будто заблудившейся в этом безбрежном пространстве рекой, возвращающей мою измученную память к самому страшному, самому горькому в моей уже идущей к концу жизни.

В Новом Васюгане пошел на памятную мне окраину села к старому кладбищу. Но уже не было там ни крестов, ни могильных холмиков, остался лишь захлампенный по краям, поросший сосняком островок земли возле дороги. Остальная часть бывшего погоста была занята огородами, и ничто уже не напоминало, что это – скорбное место, что тут в одиночных и братских могилах, в гробах и без гробов похоронены тысячи людей. Там, где лопушилась картофельная ботва, раньше были сотни могил; туда осенним днем сорок второго года привезли на телеге скончавшихся от голода мою маму и сестренку. Они умерли в один день и лежат в одной могиле... В гнетущей тишине я прошел по усыпанной порыжевшей хвоей и опавшими сосновыми шишками песчаной земле в ту сторону. Мимо сосен, мимо одинокой уцелевшей лиственницы. Дошел до городьбы начинавшегося за ней чьего-то огорода и, навалившись на жердь, – заплакал. Простите меня! Прости, мама, прости, милая сестренка, что так долго я вас не проводывал... Упокой их, Господи, в вечном Царствии Твоем! Упокой их души! Упокой душу моего отца, зарытого за тысячи километров от них в каменистой уральской земле! За что вас стубили? За что загубили миллионы невинных душ? За что карали младенцев?

Господи! Ну за что же???

И когда летел обратно в Томск, всё неотступно думал о том же. Так же проплывала внизу слившаяся с небом тайга, так же сопровождала меня вошедшая в мою жизнь извилистая река, и опять видел светлые прогалины на местах покинутых поселков, где поросли травой забвения улицы, где на заброшенных погостах вытянулись сосны и пихты, упали замшелые кресты и сровняло с землей могильные холмики... Снова проплыли под вертолетом две чистинки, где были Красноярка и Муромка; отдалялся от меня Новый Васюган, отдалялся и отдалялся поросший сосняком островок земли



на его окраине... Всё внизу было печально, пустынно, и лишь кое-где у самого горизонта долго виднелись факелы над буровыми. Словно негасимые свечи в память о тех, кто зарыт в эту неприютную нарымскую землю.

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Знаю, что среди прочитавших мое исследование непременно будут те, кто скажет: «Зачем автор снова ворошит прошлое?» Подобное мне уже доводилось слышать, когда я обращался к теме трагедии спецпереселенцев, – и я отвечал, что «ворошить прошлое» – невозможно: оно такое, каким было, и в нем ничего не изменишь; но прошлое – это урок на будущее, и те, для кого время, бывшее частью жизни моих сверстников, сегодня уже история, должны знать о нем всю правду. Советские историографы, писавшие историю нашего Отечества, о многом либо умалчивали, либо подгоняли под тезисы и догмы тогдашней идеологии. Массовые репрессии тридцатых и сороковых годов, спецкомендатуры и спецпоселения, тысячи тысяч погибших от голодомора – всё это не укладывалось в прокрустово ложе марксистских догм. Было якобы «добровольное объединение крестьян в крупные социалистические хозяйства», «социалистическое переустройство деревни», «трудовое перевоспитание кулаков»...

Кстати, в начале XX века каждая пятая крестьянская семья в России была зажиточной. И эти, по советской терминологии, «кулаки» обеспечивали хлебом половину населения страны<sup>153</sup>. То, что большевики сотворили с этими крестьянами, было не только безумием по своей жестокости, но и вопиющей безрассудностью с позиций элементарного прагматизма.

Когда в СССР проводилось «социалистическое переустройство деревни», эмигрантская семья, в которой я родился и вырос, жила в граничащей с Россией Эстонии. Отец мой тогда, в начале тридцатых годов, работал на строительстве железной дороги между Тарту и Печорами (Петсери), и по мере прокладки этой дороги мы переезжали из одной расположенной вблизи нее деревни в другую. Деревни в основном были старинные русские, крестьянский труд и быт там оставались теми же, что были в дореволюционной России. В 1940 году, когда Эстония

стала советской, а я уже учился в восьмом классе нарвской гимназии, переименованной тогда в среднюю школу, на одном из уроков ранее неизвестного недавним гимназистам предмета – «Конституция СССР» – я бойко отвечал учительнице на вопрос о том, что такое колхозы. Повторял то, что прочел в учебнике: крестьяне захотели трудиться сообща, а кулаки, которые того не желали и вредили колхозам, были выселены из своих деревень. Не ведал, что пройдет немногим более года и мы с мамой и сестренкой разделим участь этих выселенных крестьян. Не ведал, что много лет буду жить и работать вместе с «вредителями-кулаками», о которых прочел в учебнике Конституции СССР. Не ведал, что, как и они, буду «спецом», познаю крестьянский труд, крестьянскую истовость и многому научусь у этих людей. Буду знать, как их раскулачивали, как ссылали на гибель в необжитые места, как большевики «ликвидировали кулачество как класс» – эту поистине белую кость российского крестьянства. «С такой лютостью, в такие дикие места и так откровенно на вымирание, как ссылали мужиков, – ни до этого, ни после никого больше не ссылали», – утверждает в «Архипелаге ГУЛАГ» Александр Исаевич Солженицын.

Но и на XX съезде КПСС, с трибуны которого Хрущев сделал памятный моим сверстникам доклад о культуре личности Сталина, тема насильственной коллективизации не затрагивалась. Иначе была бы подвергнута сомнению сама идея «социалистического переустройства сельского хозяйства», сторонником которой был Хрущев. И еще более тридцати лет после того съезда о том, как проводилось это «переустройство», что было с теми, кого отправили на «трудовое перевоспитание», по-прежнему не было известно. На стыке восьмидесятых и девяностых годов, когда на шестой части суши рухнула просуществовавшая более семи десятилетий тоталитарная система, в многочисленных периодических изданиях появилось множество воспоминаний бывших заключенных, отбывавших в свое время срок по пресловутой 58-й статье. Но об оборвавших несчетное количество жизней ссылках крестьян публикаций практически не было. Пожалуй, за исключением опубликованных воспоминаний Ивана Трифоновича Твардовского – брата знаменитого поэта Александра Твардовского. Однако судьба той семьи в тридцатых годах была лишь каплей в море страданий миллионного российского крестьянства. Отнюдь не хочу противопоставлять участь заключенных тому, что довелось пережить спецпереселенцам. За колючей проволокой, где люди становились лагерной

пылью, было ужаснее и гибельнее, но то, что творила власть с привезенными под конвоем в заболоченную тайгу крестьянскими семьями, как и то, что затем выпало на долю ссыльных, привезенных туда в последующие годы, было бесчеловечным. О происходившем в тридцатых годах с крестьянами я знал со слов моих васюганских земляков. Происходившее с ссыльными, привезенными на Васюган в сорок первом, – видел воочию. И не только видел... Но о подлинных масштабах и многих аспектах проводившихся в СССР «массовых операций» представления не имел. Поэтому, когда в начале девяностых годов была рассекречена большая часть документов тех лет и стало возможно узнать многое из того, что долгие годы было скрыто завесой секретности, я стал читать в архивах ранее недоступные исследователям постановления и инструкции ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР о выселении «кулаков» и конфискации их имущества, протоколы заседаний бюро крайкома, окружкома и райкомов ВКП(б), касавшихся «мероприятий по укреплению сельского хозяйства и борьбы с кулачеством», читал докладные записки секретарей партийных комитетов и комендантов, изобилующие орфографическими ошибками информации уполномоченных и парторгов, и эти исписанные разными почерками листки бумаги, выцветавшая машинопись постановлений, решений и директив воссоздавали технологию насилия и гнетущую атмосферу того времени, особенно ощутимую в Нарымском округе, более двух третей населения которого были ссыльные.

Сначала я просто читал, потом начал делать из документов выписки. В иной день в моем блокноте набиралось полтора-два десятка строк, иногда исписывал до двадцати страниц. В ту пору я уже был писателем, вышло в свет несколько моих книг, по которым литературоведами я был причислен к писателям-«деревенщикам». А в 1990 году журнал «Сибирские огни» опубликовал мой очерк «Гонение», в котором мне впервые удалось рассказать о судьбе одной раскулаченной крестьянской семьи. Затем, делая выписки из архивных документов, касающихся участи многих тысяч крестьянских семей и пополнившего население Нарымского округа «нового контингента» ссыльных, я было подумал, что надо написать обо всем этом роман или повесть, но вскоре отрезвился от этой мысли. Что бы воссоздать достоверную картину того трагичного времени – достаточно просто опубликовать выдержки из документов тех лет. Но когда уже почти сформировал рукопись в надежде на то, что ее где-нибудь напечатают, – понял: что, если



кому-то доведется прочесть мое исследование, наверное, читатель не ощутит всей горечи того, что было. Сухой канцелярский язык, разрозненные факты, канувшие в Лету невидимые миру слезы... И, чтобы происходившее стало понятней и явственней тем, для кого всё то уже давно прошедшее, дополнил рукопись воспоминаниями, как своими, так и присланными мне такими же, как я, бывшими ссыльными. А часть документов снабдил краткими комментариями.

Увидела книга свет в 1997 году: «Нарымская хроника (1930–1945): Трагедия спецпереселенцев. Документы и воспоминания». Вышла она двухтысячным тиражом в серии «Исследования новейшей русской истории» под редакцией А. И. Солженицына, получила хорошие отзывы в прессе, но к тому времени возникший в начале девяностых годов интерес к теме репрессий пошел на убыль, на первое место в печати вышли иные темы. Одновременно с публикацией «Нарымской хроники» мне удалось сделать благое дело, мысль о котором не давала мне покоя после того, как я побывал в Новом Васюгане на последнем островке еще не занятого строениями и огородами кладбища, где уже не оставалось ни крестов, ни могильных холмиков.

Вернувшись тогда в Томск, я обратился через газету ко всем, кто в тридцатых и сороковых годах был сослан на Васюган, с призывом установить на том кладбище мемориал погибшим спецпереселенцам. Тем, кто покоится в той земле, и тем, кто похоронен на ныне заросших лесом погостах, которые были рядом со всеми давно покинутыми васюганскими поселками. Чтобы был общий памятник взрослым и детям, старикам и младенцам – всем-всем обездоленным и угнетенным, насильно привезенным в этот неприятный край и скончавшимся там от невыносимо тяжкого, выпавшего на их долю. Откликнулись многие, и на открытый администрацией Каргасокского района специальный счет в банке стали поступать пожертвования на памятник. Причем не только от бывших спецпереселенцев, которые жили в Томской области, но и от тех, кто уехал далеко за ее пределы. Однако денежная реформа девяностых годов в одночасье обратила в ничто и все собранные тогда на памятник деньги... Не буду здесь рассказывать о дальнейших перипетиях, связанных с возведением этого памятника, – сколько еще раз писал, выступал по радио... Лишь через пять лет дело двинулось с мертвой точки – когда я обратился за помощью к Солженицыну. Благодаря ему и томскому губернатору Крессу, профинансировавшему возведение

этого мемориала, уцелевшую территорию старого кладбища в Новом Васюгане огородили и привели в порядок, поставили у входа крест и две стелы, возле которых укрепили на постаменте мемориальную плиту. И впервые прозвучала на том скорбном месте панихида по тысячам безвинных, чей жизненный путь безвременно окончился на берегах тазежного Васюгана.

Однако сегодня всё громче голоса тех, кто хочет, чтобы люди не знали правды о трагическом прошлом своей страны. «Историю нельзя переписывать» – значит не следует знать всей правды о революции и гражданской войне, не надо знать, как раскулачивали крестьян и что за этим последовало... «Построение социализма в деревне было бы невозможным без создания колхозов», – утверждают те, кто по-прежнему мыслит догмами, которые им в свое время внушили в школах и вузах. А спросили ли пришедшие к власти большевики крестьян: желают ли они строить у себя в деревне никем не изведанный социализм? Могли ли крестьяне представить, что этот «социализм» обернется для них тем, что их закрепят за отданной им в «бессрочное владение» землей, с которой практически всё выращенное на ней заставят сдавать (именно сдавать, а не продавать) в «Заготзерно», «Заготскот», «Заготживсырь»?... В начале двадцатых годов подобный оброк назывался «продразверсткой», когда были созданы колхозы – «планом госпоставок». Кстати, госпоставками (как, впрочем, и денежным сельскохозяйственным налогом, который взимался с колхозов), помимо того, облагались еще и колхозники.

И тем не менее в результате этого «социалистического переустройства сельского хозяйства», несмотря на поборы с крестьян, население страны, ранее снабжавшей излишками продовольствия за границу, стало жить впроголодь. Хорошо помню, как в ставшей в 1940 году шестнадцатой советской республикой Эстонии, где до того было изобилие продуктов, сразу же были введены ограничения на их продажу. Но не буду вести речь о далекой Эстонии, обращусь к Советской России, и в частности к Сибири. В Центре документации новейшей истории Томской области в одном из архивных дел подшито письмо жителя Парабели М. Желтухина, адресованное Сталину. Датировано оно 23 апреля 1941 года. «Я работаю с 7 апреля 1940 года в Парабельском районе, – писал Сталину Желтухин. – В июне – июле, независимо от количества семьи, давали хлеба 700 грамм на рабочего, а с августа по это время на рабочего дают 500 грамм, на иждивенца – 150, а в магази-

нах ничего нет... Я имею жену на иждивении, сына двух лет и дочь одного года, их приходится кормить чем попало... Я лично смог достать по врачебной справке за зиму на двух детей 3 килограмма манной крупы, но детям нужны сахар, печенье, пряники. Но у нас, кроме хлеба, и то не досыта, ничего не дают... Население ощущает голод... Потому пишу Вам и считаю, что Вы без внимания не оставите и ответите»<sup>154</sup>. До дорогого товарища Сталина письмо Желтухина, естественно, не дошло. На письме – резолюция секретаря Парабельского райкома ВКП(б) Кулопанова: «Тов. Лебедеву. Разъясните». Внизу вторая резолюция: «Желтухину ответ дан устно в беседе с ним. Лебедев». Комментировать не буду.

Однажды известный советский писатель (ныне покойный), главный редактор одного из популярных тогда «толстых» журналов, сказал мне: «Победе в Великой Отечественной войне мы во многом обязаны тому, что в СССР были колхозы, благодаря чему имелась возможность взять у них максимальное количество хлеба, когда самые хлебобородные области были захвачены немцами. У единоличников взять весь хлеб мы бы не смогли». Да, забрать из колхозных закромов хлеб труда не составляло. Но как же возглавивший тогда страну «мудрый вождь и стратег» допустил, что огромная часть нашей территории была захвачена противником и страна оказалась лишённой запасов продовольствия? Какую страшную цену пришлось затем уплатить за этот просчет! В том числе смертями от голода колхозников, у которых отбирали хлеб. А вообще-то, не приди в октябре семнадцатого года к власти те, кого редактор имел в виду, употребляя местоимение «мы», быть может, не было бы Второй мировой войны. И не понесла бы Россия невосполнимых потерь, причиненных ей не только этой войной.

Стремление скрыть целые пласты трагического прошлого нашего Отечества – это предательство по отношению к несметному числу людей, безжалостно раздавленных катком массовых репрессий. И сегодня, по-прежнему манипулируя историей, пытаются убедить несведущих, что иначе было нельзя, так было надо, и вообще не нужно об этом вести речь.

Говорят: время лечит душевную боль. Но на излете моей жизни душу мою всё пуще теснят воспоминания, и снова, более десяти лет спустя, я взялся за неотступно тревожащую мою горькую память тему трагедии спецпереселенцев. Часть приведенных в этом исследовании архивных документов ранее были включены в «Нарымскую хронику», многие доку-

менты и факты использовал здесь впервые. Одновременно расширил и временные рамки: «Нарымская хроника» заканчивалась 1945 годом, данное исследование – серединой пятидесятых годов.

Но побудило меня вернуться к этой теме не только желание противостоять сегодняшним попыткам предать забвению память о загубленных невинных душах и превозносить тех, кто, декларируя светлое будущее, мостил дорогу к нему на костях и крови. Взялся я за перо и потому, что призывы «не ворошить прошлое» и забыть о мертвых коснулись и сегодняшней участи тех, кто много лет находился на спецпоселении либо отбывал срок по 58-й статье за колючей проволокой, а сегодня еще жив, но стар и немощен.

Как-то позапрошлым летом повстречал на улице свою давнюю землячку по Васюгану Евдокию Васильевну, которую не видел много лет. Привезли ее на Васюган с раскулаченными родителями малолетней девочкой. Слабосильная, босая, в худой одежонке, пасла колхозных овец, затем с такими же, как она, деревенскими девочками носила тяжелые вязанки шихтовой лапки к стоявшему на берегу таежной речки кустарному заводу. Потом война: зимами – лесоповал, весной – лесосплав; затем снова колхоз – работа за копейчные трудовые. Всё непосильное, выпавшее на долю таких же, как она, – обездоленных в детстве и молодости, а теперь уже и на старости лет. Выходила замуж за инвалида-вдовца, намного старше ее, но довелось прожить с ним недолго. У самой жизнь, считай, уже прожита, и поминуть ее нечем, кроме как работой... Поговорил с ней, вспомнили былое, вспомнили Муромку, где довелось нам обоим жить. И как-то сам по себе перешел разговор на сегодняшний день. Обидно было Евдокии Васильевне, что мизерная у нее пенсия; сказала – видно, не хотят слышать нынешние правители, как бедовали такие, как она; не хотят знать, как с малолетства работали бесплатно, надсажались в войну и послевоенные годы, голодали, холодали, боялись начальства... Не лукавили, не крали, всё отдали – силу, здоровье... А что теперь взамен, когда нет уже ни здоровья, ни сил? Льготы и те отобрали.

Льготы – как она их по-своему назвала «ляготы» – были предусмотрены в начале девяностых годов таким, как она, законом о реабилитации жертв политических репрессий – пятидесятипроцентная скидка на стоимость выписанных врачом лекарств, бесплатное зубопротезирование и ряд других льгот. Но в 2004 году Государственная дума все ранее приня-



тые законы о льготах отменила, заменив их монетизацией. И выдавать стали Евдокия Васильевна взамен всех ее «лягот» по сто рублей в месяц. Вся ее пенсия вместе с доплатами – 2630 рублей, а ей только на лекарства требуется ежемесячно более шестисот...

– Наверное, всё же власть поймет, что несправедливо так поступили со стариками, что-нибудь для них предпримут, – попытался я ее утешить. – Денег у государства теперь много.

– Нет, – возразила она со слезами в голосе. – Ничего они не сделают. Не достучишься до них. Души у них холодные.

Был это наш последний с ней разговор. Вскоре узнал: померла Евдокия Васильевна. Ведал бы я тогда, что больше не свидимся, сказал бы ей еще что-нибудь теплое, сочувственное... Да только что сказать? Ведь права она была: «Ничего они не сделают». «Они» – для нее были те, кого она ежедневно видела на экране своего старенького телевизора: что-то друг с другом обсуждающие, выступающие, сидящие в первых рядах на праздничных концертах и за уставленными бутылками и яствами столиками рядом с веселящими их «звездами»; «они» – власть имущие; «они» – те, от каждого из которых в той или иной степени зависит наша сегодняшняя жизнь.

Евдокия Васильевна ощущала эту жизнь на уровне своего бытия. Сводит бессонными ночами на старости лет у таких, как она, с малолетства надорванных тяжелой работой, руки и ноги судорогой, болят седые головы, невозможно утишить сердечную боль... Учиться им пришлось всего ничего; всю жизнь ощущали они свою униженность; боялись рассказывать, что были сосланы, что у кого-то из них отец расстрелян как «враг народа», у кого-то стинул безвестно в лагере без права переписки... Настали девяностые годы. Казалось, восторжествовала справедливость к безвинным, и хотя погибших в лагерях и ссылках было не воскресить, молодость и здоровье выжившим не вернуть, но дополнявшие старикам их скудную пенсию льготы помогали им сводить концы с концами. Однако пришло время, и оказалось, что для новой власти реабилитированные (а почти все они и труженики тыла) – балласт и «льготы» их обременительны для федерального бюджета. И помирают теперь они с горькой обидой на правителей, вещающих с телеэкранов о проектах для будущих поколений, но нет проекта дать старикам возможность достойно дожить оставшийся им срок на этой грешной земле. За отнятое у них детство, изломанную жизнь, за их непосильный труд, горечь утрат, за все выпавшие на их долю великие тяготы...

Огромные потери понес наш народ в Великой Отечественной войне. В Томске рядом с величественным монументом Боевой и Трудовой Славы томичей, у подножия которого рвется из-под земли Вечный огонь, на мемориальных досках – шестьдесят две тысячи имен павших воинов, ушедших на фронт из Томска, томских сел, деревень и поселков. Вечная им память и вечная слава! Но пусть не упрекнут меня за то, что следом я приведу данные о других потерях. В тридцатых и сороковых годах в Томской области от голода и нечеловеческих условий погибло свыше ста шестидесяти тысяч спецпереселенцев, а 10588 человек (в том числе 266 женщины)<sup>155</sup> были расстреляны по 58-й статье...

Сколько всего в бывшем СССР безвинных расстреляно, сколько безвинных погибло в ссылках, концлагерях и тюрьмах – мы, вероятно, уже никогда не узнаем. Очевидно одно: стинули миллионы. Но я не припомню, чтобы кто-либо из нынешнего правительства упомянул о погибших от массовых репрессий в годы тоталитарного режима, чтобы кто-то из них принародно склонил голову в память о загубленных невинных душах. Отнюдь не противопоставляю жертв репрессий павшим на войне солдатам. Я о Памяти и о забвении.

Накануне революции более восьмидесяти процентов населения России были крестьяне, и потому наибольшее количество жертв пришлось на их долю. Не говоря уже о том, что на крестьянских семьях были опробованы первые массовые акции – ссылка «в отдаленные местности», но и среди тех, кто был подвергнут аресту по 58-й статье (контрреволюционные преступления), значительную часть составляли крестьяне. Где же еще было искать чекистам «контрреволюционеров», как не среди бывших кулаков? В частности, треть осужденных на территории Томской области по той зловещей статье были крестьяне. Половину из них расстреляли. Предваряя в «Архипелаге ГУЛАГ» главу, посвященную трагедии российского крестьянства, Александр Исаевич Солженицын, образно назвавший раскулачивание и всё, что за ним последовало, «мужичьей чумой», написал, что «так это было глухо сделано, так начисто соскребено, что всякий шепот о том был задавлен. И трубы не будят нас встрепетаться. И на перекрестках проселочных дорог, где визжали обозы обреченных, не брошено даже камешков трех... Знаю я, – продолжает далее Солженицын, – что здесь не глава нужна и не книга отдельного человека... И всё же начинаю. Я ставлю ее как знак, как мету, как эти камешки первые – чтоб только

место обозначить, где будет когда-нибудь же восстановлен новый Храм Христа Спасителя».

Боже мой! Если б могли встать из-под земли не только сгладенные той «мужичьей чумой», но все безвинные, сгинувшие за колючей проволокой сталинских концлагерей, умершие в спецпоселках от голода в роковых сороковых, – все-все – мужчины, женщины, дети... Если бы все они, превращенные в лагерную пыль, истлевшие в рвах и братских могилах на Соловках, в Мордовии и в Караганде, по берегам сибирских, архангельских и уральских рек, стали сейчас плечом к плечу – какая бы необозримая шеренга протянулась! От стона их содрогнулась бы земля. Но голоса их давно смолкли, и рты их забиты могильной глиной... Пройдет еще лет десять, и не останется никого, кто был свидетелем того прошлого, о котором я стремился успеть написать это исследование. Пусть и оно тоже будет метой по дороге к Храму Памяти всем тем загубленным и убитым. Лишь Господу Богу известны имена всех их, только Он знает, сколько было их, только Ему ведомо, как каждый из них страдал, как каждый из них умер...

## ПРИМЕЧАНИЯ

- <sup>1</sup> ГАНО (Государственный архив Новосибирской области), ф. 47, оп. 5, д. 104, л. 54.
- <sup>2</sup> ГАНО, ф. 1072, оп. 1, д. 311Б, л. 10.
- <sup>3</sup> Спецпереселенцы в Западной Сибири (1930 – весна 1931 г.). Новосибирск, 1992. С. 27.
- <sup>4</sup> ГАНО, ф. 47, оп. 5, д. 104, л. 138–151.
- <sup>5</sup> ГАНО, ф. 47, оп. 5, д. 103, л. 30–35.
- <sup>6</sup> Там же, л. 30–63.
- <sup>7</sup> ГАНО, ф. 1353, оп. 3, д. 45, л. 239.
- <sup>8</sup> Там же, л. 128.
- <sup>9</sup> Там же, л. 215–220.
- <sup>10</sup> ГАНО, ф. 47, оп. 5, д. 106, л. 71–72.
- <sup>11</sup> Нарымская ссылка (1906–1917 гг.): Сборник документов и материалов о ссыльных большевиках. Томск, 1970. С. 88.
- <sup>12</sup> ГАНО, ф. 47, оп. 5, д. 106, л. 88.
- <sup>13</sup> ГАНО, ф. 47, оп. 5, д. 103, л. 30–63.
- <sup>14</sup> ГАРФ, ф. 9479, оп. 1, д. 3, л. 2–3.
- <sup>15</sup> ГАНО, ф. 47, оп. 5, д. 121, л. 36.
- <sup>16</sup> Нарымская хроника (1930–1945): Трагедия спецпереселенцев / Док. и восп. Сост. и ком. В. Н. Макшеев. М., 1997. С. 36.
- <sup>17</sup> Там же. С. 43.
- <sup>18</sup> Уйманов В. Н. Репрессии. Как это было... (Западная Сибирь в конце 20-х – начале 50-х годов). Томск, 1995. С. 205–206.
- <sup>19</sup> Нарымская ссылка (1906–1917 гг.)... С. 8–13.
- <sup>20</sup> ГАРФ (Государственный архив Российской Федерации), ф. Р-9479, оп. 1-С, д. 18, л. 1–3.
- <sup>21</sup> АПРФ (Архив Президента Российской Федерации), ф. 3, оп. 30, д. 196, л. 117.
- <sup>22</sup> ГАНО, ф. 3-П, оп. 1, д. 540а, л. 116–126.
- <sup>23</sup> Спецпереселенцы в Западной Сибири (1933–1938 гг.). Новосибирск, 1994. С. 298–299.
- <sup>24</sup> Там же. С. 223.
- <sup>25</sup> Собрание законов СССР. 1935. № 7.



- 26 ГАНО, ф. 4-П, оп. 34, д. 69, л. 1–72.
- 27 ЦДНИ ТО (Центр документации новейшей истории Томской области), ф. 206, оп. 1, д. 131, л. 1.
- 28 Спецпереселенцы в Западной Сибири (1933–1938 гг.). С. 291.
- 29 Спецпереселенцы в Западной Сибири. Весна 1931 – начало 1933 г. Новосибирск, 1993. С. 4.
- 30 Нарымская хроника... С. 26.
- 31 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 25, л. 24.
- 32 ЦДНИ ТО, оп. 1, д. 120, л. 72.
- 33 ЦДНИ ТО, оп. 1, д. 169, л. 80.
- 34 Документы свидетельствуют (1927–1932 гг.). М., 1989. С. 382–383.
- 35 Село Васюганское, впоследствии переименованное в Средний Васюган, существовало еще до того, как в те края завезли спецпереселенцев, и там было единственное на протянувшейся на сотни верст территории почтовое отделение.
- 36 Первый взнос в кооперацию.
- 37 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 10, л. 33.
- 38 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 17, л. 56.
- 39 АКОРТ – акционерное общество розничной торговли.
- 40 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 17, л. 146.
- 41 Все поселения остяжков (селькупов) на Васюгане, независимо от количества дворов, именовались юртами.
- 42 Польские осадники – бывшие военнослужащие польской армии, за заслуги в польско-советской войне 1920 г. получившие землю на Западной Украине и в Западной Белоруссии.
- 43 ГАНО, ф. Р-1020, оп. 4а, д. 17, л. 23–24.
- 44 Обласок – легкая лодка, выдолбленная из осины или ветлы.
- 45 Полномочное представительство ОГПУ.
- 46 ОСОАВИАХИМ – Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Массовая добровольная общественная организация в 1927–1948 гг.
- 47 ГАРФ, ф. Р-9479, оп. 1, д. 11, л. 39–40.
- 48 ГАРФ, ф. Р-9479, оп. 1, д. 65, л. 16.
- 49 ГАНО, ф. 4-П, оп. 5, д. 87, л. 66–67.
- 50 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 470, л. 27, 30.
- 51 Боль людская: Книга памяти репрессированных томичей. Томск, 1994. Т. IV. С. 166. Посмертно реабилитирован.
- 52 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 445, л. 109.
- 53 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 446, л. 34.
- 54 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 445, л. 105.
- 55 Там же, л. 145.

- 56 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 582, л. 270.
- 57 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 518, л. 18.
- 58 ГАРФ, ф. Р-9479, оп. 1, д. 78, л. 210.
- 59 Там же, л. 185.
- 60 Нарымская хроника... С. 136.
- 61 ГАРФ, ф. Р-9479, оп. 1, д. 138, л. 243.
- 62 ЦДНИ ТО, ф. 102, оп. 1, д. 31, л. 9.
- 63 Там же, л. 10.
- 64 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 470, л. 73.
- 65 Там же, л. 80.
- 66 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 513, л. 16.
- 67 Там же, л. 16.
- 68 Там же, л. 17.
- 69 Боль людская... Т. IV. С. 191. Посмертно реабилитирован.
- 70 Боль людская... Томск, 1994. Т. V. С. 155. Посмертно реабилитирован.
- 71 Боль людская... Томск, 1992. Т. III. С. 206. Посмертно реабилитирован.
- 72 Боль людская... Томск, 1992. Т. II. С. 316. Посмертно реабилитирован.
- 73 Боль людская... Т. IV. С. 145. Посмертно реабилитирован.
- 74 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 470, л. 72.
- 75 ГАРФ, ф. Р-9479, оп. 1, д. 78, л. 180.
- 76 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 502, л. 28.
- 77 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 513, л. 7.
- 78 ГАНО, ф. 4-П, оп. 5, д. 87, л. 66.
- 79 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 470, л. 70.
- 80 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 502, л. 30.
- 81 Я проработал в колхозе пятнадцать лет, но даже после войны ни разу более пятисот граммов зерна на трудодень колхозникам не доставалось.
- 82 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 470, л. 50.
- 83 Там же, л. 72.
- 84 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 502, л. 39.
- 85 Боль людская... Томск, 1991. Т. I. С. 152. Посмертно реабилитирован.
- 86 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 506, л. 7.
- 87 Боль людская... Т. IV. С. 92. Посмертно реабилитирован.
- 88 ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 470, л. 72.
- 89 Томская область выделена из состава Новосибирской области в 1944 году. Архивные документы, касающиеся ссылок и спецпереселений в 1930–1940-х годах, хранятся в архивах как Новосибирска, так и Томска.

<sup>90</sup> Рассказы о своей жизни: Жизнеописания эстоноземельцев. Tallinn, 2005. С. 175.

<sup>91</sup> ЦДНИ ТО, ф. 102, оп. 1, д. 42, л. 15.

<sup>92</sup> Купинский район Новосибирской области.

<sup>93</sup> ЦДНИ ТО, ф. 102, оп. 1, д. 42, л. 11.

<sup>94</sup> ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 598, л. 1.

<sup>95</sup> С начала проведения т. н. массовых операций несколько раз менялись наименования категорий граждан, насильно переселенных в «отдаленные местности СССР». 23 февраля 1944 года ГУЛАГом НКВД было разослано разъяснение во все периферийные органы данной структуры, в котором определялось, как кого именовать. «Наименования «трудпоселенцы», «ссылнопоселенцы», «трудпоселки» и «трудссылки» – упразднены, – уведомляли из Москвы. – Поэтому в дальнейшем следует именовать: а) трудпоселенцев (бывших кулаков) – «спецпереселенцами» («бывшими кулаками»); б) ссылнопоселенцев, высланных из прибалтийских и Молдавской ССР сроком на 20 лет, – «спецпереселенцами», «ссылными из Молдавской и прибалтийских ССР»; в) трудпоселки – «специальными поселками»; г) трудссылку – «специальным поселением»».

<sup>96</sup> ГАРФ, ф. Р-9479, оп. 1, д. 156, л. 9.

<sup>97</sup> ГАРФ, ф. Р-9479, оп. 1, д. 113, л. 7.

<sup>98</sup> ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 598, л. 11.

<sup>99</sup> ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 475, л. 24.

<sup>100</sup> ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 446, л. 25.

<sup>101</sup> ЦДНИ ТО, ф. 102, оп. 1, д. 79, л. 29.

<sup>102</sup> ЦДНИ ТО, ф. 102, оп. 1, д. 104, л. 16.

<sup>103</sup> В большинстве управлений МВД других сибирских областей подобные картотеки не сохранились, в УВД Томской области – уцелела. Данные о раскулаченных крестьянах, высланных в Нарымский округ в тридцатых годах, к сожалению, неполны, но данные о судьбе каждой семьи из т. н. цового контингента ссыльных можно найти как в картотеке, так и в завешенных в свое время на эти семьи «Делах».

<sup>104</sup> Воспоминания Дайны Шмулдере-Геркис, Бируты Мильберг, Пезпа Варью и Ауне Круземент находятся в моем личном архиве.

<sup>105</sup> В остальных поселках на Васюгане, куда в 1941 году привезли ссыльных из западных республик СССР, были люди разных национальностей, но в Красноярку тогда определили на спецпоселение лишь еврейские семьи, причем все из одного города – Черновиз (ныне Черновцы).

<sup>106</sup> Кителя особого покроя, какие носил Сталин и соответственно всё партийное начальство – от членов Политбюро вплоть до секретарей районных комитетов ВКП(б).

<sup>107</sup> ГАРФ, ф. Р-5446, оп. 46, д. 3461, л. 105.

<sup>108</sup> ГАРФ, ф. Р-9479, оп. 1, д. 73, л. 69–72.

<sup>109</sup> ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 687, л. 317.

<sup>110</sup> Спешно построенные во время войны нарымские рыбозаводы были всего-навсего утепленными деревянными сараями, где женщины солили, коптили и вялили речную рыбу, которую затем затаривали и отправляли в Новосибирск для снабжения армии и населения, занятого в оборонной промышленности. Кстати, хищение любого количества рыбы как рыбаками, так и работниками рыбозаводов каралось по законам военного времени.

<sup>111</sup> ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 688, л. 180.

<sup>112</sup> ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 829, л. 7–8.

<sup>113</sup> ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 841, л. 4.

<sup>114</sup> Там же, л. 6.

<sup>115</sup> Там же, л. 15.

<sup>116</sup> Там же, л. 25.

<sup>117</sup> ЦДНИ ТО, ф. 102, оп. 1, д. 79, л. 27.

<sup>118</sup> ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 795, л. 4.

<sup>119</sup> Из истории Земли Томской (1940–1956): Невольные сибиряки. Сб. док. и мат. Томск, 2001. С. 31.

<sup>120</sup> ЦДНИ ТО, ф. 206, оп. 1, д. 789, л. 227.

<sup>121</sup> ЦДНИ ТО, ф. 102, оп. 1, д. 100, л. 88.

<sup>122</sup> Там же, л. 106.

<sup>123</sup> ГАТО (Государственный архив Томской области), ф. Р-829, оп. 4, д. 37, л. 88.

<sup>124</sup> ЦДНИ ТО, ф. 607, оп. 1, д. 47, л. 341.

<sup>125</sup> Там же, л. 320–326.

<sup>126</sup> Там же.

<sup>127</sup> ГАТО, ф. Р-829, оп. 4, д. 54, л. 6.

<sup>128</sup> ГАТО, ф. Р-829, оп. 4, д. 37, л. 133.

<sup>129</sup> Там же, л. 130.

<sup>130</sup> ЦДНИ ТО, ф. 102, оп. 1, д. 185, л. 33.

<sup>131</sup> ЦДНИ ТО, ф. 102, оп. 1, д. 197, л. 95.

<sup>132</sup> Там же, л. 305.

<sup>133</sup> Там же, л. 100.

<sup>134</sup> ГАТО, ф. Р-858, оп. 9, д. 2, л. 5.

<sup>135</sup> Плотбище – место в пойме реки, где зимой связывают в плоты вывезенные из леса бревна. Весной, когда пойму затопляет паводок, плоты выводят по воде в речное русло, по кото-



рому они плывут в низовье, где их заводят в запань (заводь), и там бревна грузят на баржи.

<sup>136</sup> Перегон – расстояние, которое лошадь может пробежать без отдыха и кормежки. Обычно до тридцати километров.

<sup>137</sup> ГАТО, ф. Р-858, оп. 9, д. 2, л. 82.

<sup>138</sup> Справочник ГУЛАГа. М., 1991. Часть I. С. 231.

<sup>139</sup> ГАТО, ф. Р-829, оп. 4, д. 54, л. 11–17.

<sup>140</sup> ГАТО, ф. Р-829, оп. 4, д. 54, л. 26.

<sup>141</sup> Там же, л. 4.

<sup>142</sup> ЦДНИ ТО, ф. 607, оп. 1, д. 1317, л. 34.

<sup>143</sup> ГАТО, ф. 829, оп. 4, д. 37, л. 130.

<sup>144</sup> ГАТО, ф. Р-858, оп. 9, д. 2, л. 94.

<sup>145</sup> Там же, л. 144.

<sup>146</sup> Там же, л. 192.

<sup>147</sup> ГАТО, ф. Р-858, оп. 9, д. 4, л. 27.

<sup>148</sup> ЦДНИ ТО, ф. 607, оп. 1, д. 949, л. 110.

<sup>149</sup> ЦДНИ ТО, ф. 607, оп. 1, д. 1333, л. 139–141.

<sup>150</sup> По данным Института истории СССР АН, опубликованным в газете «Аргументы и факты» (1989, № 30–40), к 1 января 1953 года в СССР на спецпоселении находилось 2 753 356 спецпереселенцев.

<sup>151</sup> ЦДНИ ТО, ф. 607, оп. 1, д. 1707, л. 52.

<sup>152</sup> Муч (сиб.) – крутая извиллина реки.

<sup>153</sup> Советский энциклопедический словарь. М., 1979. С. 675.

<sup>154</sup> ЦДНИ ТО, ф. 92, оп. 1, д. 73, л. 61.

<sup>155</sup> Уйманов В. Н. Репрессии. Как это было... С. 49.

## СОДЕРЖАНИЕ

Мариэтта Чудакова. Знать и помнить ..... 3

### Спеццы

I ..... 9

II ..... 67

III ..... 116

Послесловие ..... 161

Примечания ..... 171